

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть VI

Глава первая. Междувластие

Глава вторая. Истомин

Глава третья. Хлапонинка

Глава четвертая. Мартовское дело

Глава пятая. Оттепель

Глава шестая. Пластуны

Глава седьмая. Пасхальная канонада

Глава первая. Междувластие

I

Дожившему до весьма уже почтенных лет и получившему предельный чин генерала-от-кавалерии барону Остен-Сакену никогда раньше не приходилось даже и предполагать, чтобы он мог попасть в такое труднейшее положение, как в конце февраля в Севастополе. Он, как истый немец, ревностно любил военную службу и фанатично любил своего бога, который так явно, так неусыпно заботился о блестящей судьбе остзейских немцев в России.

Обладая таким кладом, как весьма деятельный и способный начальник штаба князь Васильчиков, он сносно выполнял свои обязанности начальника гарнизона, но слишком далеко эти обязанности не заходили.

Все сколько-нибудь крупные шаги по обороне Севастополя предпринимались по ту сторону Большого рейда, на Северной стороне, в Сухой балке, а не в доме по Екатерининской улице, где была штаб-квартира Сакена.

Здесь назначались только мелкие вылазки, хотя и частые; отсюда снабжались всем необходимым войсковые части на бастионах и редутах; здесь следили за тем, чтобы свежие полки сменяли потерпевшие в бомбардировках, отправляемые на отдых и пополнение; здесь вели скорбные списки потерь; отсюда шла большая

часть представлений к наградам; здесь ведали перевязочными пунктами и госпиталями; здесь вообще наблюдали за принятым уже раньше распорядком жизни осажденного города.

Но святы были для исполнительного барона все приказы, получаемые им от главнокомандующего вооруженными силами Крыма. И вот вдруг вышло так, что главнокомандующий оставил и Севастополь и Северную с ее Сухой балкой и уехал за семьдесят верст, возложив на него свое тяжкое бремя... Правда, уехал не совсем, только несколько подлечиться и отдохнуть, потому что действительно был болен и немощен, но...

— Но что же мы теперь, как же мы теперь без князя, мой милый Васильчиков? — оторопев, спрашивал заместитель главнокомандующего своего помощника. — Ведь сомневаться, не приходится в том, что в самом ближайшем времени известно это станет Канроберу и Раглану, а? Ведь они, пожалуй, могут даже решиться теперь на штурм, а?

— Не думаю, чтобы их так пугал светлейший, — пробовал улыбнуться на это Васильчиков.

— Но все-таки раз только главнокомандующий отбыл от армии, то...

Сакен разводил широко руки, выпячивал губы, таращил глаза, Васильчиков же замечал на это хладнокровно:

— То вы его замещаете, и только. Ведь коренной какой-нибудь ломки от этого произойти не может. Что же заставит союзников высоко поднимать нос? Наконец, штурм они не начнут без порядочной бомбардировки, а это — история длинная, и мы всегда можем снестись с князем на случай большой необходимости.

— При такой распутице, вы полагаете, успеем снестись и получить указания?

— Вполне успеем. Наконец, если уехал светлейший князь, то ведь остаются великие князья.

— Да, остаются, да... В этом вы, разумеется, правы. Это есть действительный резон! Остаются их высочества, которые гораздо лучше, чем мы, знают предначертания августейшего своего родителя... Это есть резон, да, но кто будет нести ответственность в случае неудачи? Вот эта старая голова будет нести ответственность! —

похлопал себя Сакен по затылку и отвернулся к окну, чтобы скрыть нечаянно появившиеся слезинки: он был взволнован и даже чувствовал жалость к самому себе, как будто Меншиков, уехав, сделал в отношении к нему какую-то подлость, на которую даже и жаловаться нельзя и некому, а между тем очень бы хотелось.

Отсюда, со второго этажа, виден был внешний рейд, на котором вне выстрелов с фронтов стояли, как обычно, суда союзников. Флот англо-французов сторожил не подступы с моря, — все море и без того было в его власти; он, стоя на якоре, просто выжидал удобного момента, чтобы поддержать своими орудиями натиск штурмующих колонн, который стал неотбойно чудиться Сакену с момента отъезда Меншикова, хотя ничто не изменилось кругом.

Море было блистающе-голубое, каким оно было всегда в ясные, теплые, тихие дни. На деревьях повеселели тонкие ветки, — именно повеселели, — в них началось уже движение соков, и как будто даже отмечал глаз какое-то общее набухание почек. По улице ходили прохожие в штатских пальто, — иногда даже и дамы в капорах, — возможно, что флотские, приехавшие проведать мужей, но, может быть, и те, которые никак не хотели расставаться со своими гнездами, какие бы несчастья им ни угрожали; было несколько десятков таких усидчивых и упорных. Ребятишки играли в военные игры, перебрасываясь осколками бомб, валявшимися на улице, и сильно кричали, приходя в понятный азарт. На близком отсюда Приморском бульваре, около памятника Казарскому, гремела полковая музыка, как всегда в последнее время в вечерние часы, и шло гулянье, разрешенное Меншиковым. В то же время к Графской пристани на двух фурштатских подводах, покрытых окровавленным брезентом, подвозили убитых на бастионах в перестрелке этого дня, и Сакен знал, что унтер-офицер флота, прозванный Хароном^{73}, погрузив их на баржу, будет переправлять их через Большой рейд на Северную, на Братское кладбище.

Шла обычная жизнь, независимо от того, был ли по-прежнему здесь, или уехал главнокомандующий, и слышался за дверью кабинета деловитый голос полковника Тотлебена, который, конечно, будет сейчас развивать в подробностях свой план о закладке нового,

третьего редута перед Малаховым курганом: ему непременно хочется утвердиться на холме Кривая Пятка, хотя это и угрожает частыми кровавыми схватками с французами, между тем ведь может случиться и так, что конференция в Вене, которая уже собралась или вот-вот соберется, обсудит условия мира, и тогда зачем же самим ввязываться в крупные операции, связанные с неизбежным риском?

Но Сакен знал, впрочем, что великие князья вполне соглашались с проектом Тотлебена, так что в смысле личной ответственности за этот шаг он был отчасти спокоен. Наконец, ему было известно и то, что сам царь настаивал в письмах к Меншикову на обороне при помощи контрапрошей. Беседа с Тотлебеном, часто переходившая на немецкий диалект, доставляла ему всегда истинное удовольствие. Конечно, он соглашался со всеми доводами его насчет необходимости третьего редута, хотя бы и не в форме вполне законченной, как первые два — Селенгинских и Волынский, а в облегченной, если французы будут сильно мешать работам.

Следующий день — 19 февраля — принес Сакену новый удар: экстренно были вызваны в Петербург и спешно уехали великие князья. Конечно, он был у них перед отъездом, и они простились с ним с виду любезно, но тревога их была велика: теперь уже не к опасно больной матери ехали они, что было привычно, а к серьезно заболевшему отцу.

— Застанем ли, а?.. Застанем ли в живых? — пролепетал как-то совсем по-детски Михаил, когда обнимал его, Сакена, на прощанье.

— Что вы, что вы, ваше высочество! — ошеломленно отозвался он. — Господь не допустит этого, нет! Мы будем молиться о здравии всем гарнизоном... всюю армией будем молиться!.. Господь услышит нас и воздвигнет... и подымет с одра! Господь милосерд, он не допустит!..

Однако вместо торжественности, какую хотел он вложить в эти слова, вышла только бессвязность, растерянность, — он был явно испуган до чрезвычайности.

Тут же по отъезде великих князей были разосланы им всюду по гарнизону по воинским частям за бухтой, по уцелевшим еще от бомбардировки городским церквам адъютанты и ординарцы с приказом отслужить, «преклонша колена», торжественное молебствие

о здравии императора Николая, что явилось усердием совершенно излишним, так как в это время тело Николая было уже выставлено в одной из зал Зимнего дворца для прощания с ним придворных, военных и гражданских чинов и, наконец, народа.

О смерти того, кому он служил без малого тридцать лет, Сакен узнал только на другой день от парламентаров, офицеров союзной армии: кабель, проложенный интервентами между Балаклавой и Варной, помог им получить эту новость, взволновавшую всю Европу, еще накануне к посрамлению русских курьерских троек; телеграфную же линию в Севастополь от Киева только еще вели, медленно спеша.

Сакен был поражен до того, что заперся у себя в кабинете, рыдал и бил перед иконой поклоны, но в это время через его адъютантов и Васильчикова слух о смерти царя расходился по гарнизону, пока еще шепотом, «по секрету», однако с быстротой необычайной.

Правда, иные, и очень многие, пытались не верить этому слуху, так как шел он со стороны противников, но батареи противников и даже стрелки их, как бы в знак сочувствия защитникам Севастополя, многозначительно умолкли, и в наступившей тишине гремела одна только эта острая весть, передававшаяся шепотом, на ухо, но стоившая энергичнейшей канонады.

Васильчиков вынужден был вывести Сакена из его траурного уединения напоминанием, что надо бы привести войска вверенной ему Крымской армии к присяге новому царю Александру II, как это сделано уж, разумеется, в войсках обеих столиц.

На это Сакен ответил, что бог укрепил его и внушил ему только одно решение: немедленно послать кого-либо из адъютантов к инязю Меншикову, в Симферополь, чтобы у него, главнокомандующего, испросить необходимых распоряжений. Кстати, ему же по мнению Сакена, надо было передать для утверждения и проект Тотлебена об устройстве третьего редута впереди Малахова кургана.

II

Меншиков ответил Сакену на другой же день:

«Поспешаю ответствовать на письмо вашего
высокопревосходительства, в коем вы желаете знать мое мнение

относительно построения редута в двухстах пятидесяти сажен от Малахова кургана, дабы парализовать действие английских батарей, сосредоточивающих свои выстрелы на этот курган. Я нахожу предположение это еще тем более полезным, что таковой редут послужить может опорным пунктом для дальнейших действий к овладению английскими батареями между Килен — и Лабораторною балками...»

Получив разрешение на новый редут, Сакен мог уже говорить с Тотлебенем вполне авторитетным тоном: старая голова переложила с себя ответственность на другую, более высокопоставленную старую голову, — и подготовка к устройству третьего редута началась.

Может быть, она была бы отложена в долгий ящик, если бы Сакен знал, что Меншиков уже не главнокомандующий, но об этом в день отправки письма не знал и сам светлейший, шутивший перед отъездом, что ввиду святости Сакена он оставляет Севастополь на попечение самого господ бога.

Сакен и сам втайне думал, что не только он любит бога, но и его тоже любит бог, так что любовь была не без взаимности. Ночью же 20 февраля он лишний раз убедился в этом, поскольку чистейшие случайности имеют все-таки способность убеждать суеверов.

В его штаб-квартиру попала пущенная с одной из английских батарей конгревова ракета весом в два пуда, пробила крышу, потолок и стену и, разорвавшись, зажгла кипы бумаг, лежавших на полу, и самый пол. Конечно, произвела она переполох сильнейший. Васильчикову, Гротгусу и другим, жившим в доме, пришлось спросонья тушить пожар, который и был потушен довольно быстро, но Сакен долго не отпускал спать свой штаб, принимаясь снова и снова воодушевленно рассказывать, как ракета, отклонись она в своем полете всего на каких-нибудь три шага, могла бы ударить в кровать, на которой дремал он тяжелой дремотой, и его уничтожить, стереть, вычеркнуть из списка живых и как «рука всевышнего» отвела ее в сторону и спасла ему жизнь.

Сквозь проломы в потолке и крыше любопытно глядело звездное небо и щедро вливался холодный влажный ранневесенний воздух; в пострадавших комнатах еще только заканчивали уборку вестовые

казаки, выметая последние клочья обгорелых бумаг, комя штукатурки, щепки, осколки, а Сакен уже тащил, энергично действуя длинными руками, и Васильчикова, и Гротгуса, и других чинов штаба помолиться перед образом, «воздать от чистого, умиленного сердца благодарность создателю за чудо, явленное недостойному рабу, боярину Дмитрию...»

Впрочем, больше уже в эту ночь «боярин Дмитрий» не ложился спать, а все прислушивался, одетый в теплую шинель, не летит ли к нему новая гостя по проторенной уже дорожке, и все поглядывал в потолок, пряча зябкие руки в карманы.

Уходить куда-нибудь из обжитого уже дома все-таки не хотелось, и утром продырявленная крыша, потолок и пол были исправлены рабочими, приведенными унтер-офицером Дебу.

Разыграть роль благодетельницы-судьбы в отношении к своему ближнему иногда бывает приятно, и адъютант рабочего батальона поручик Смирницкий вполне намеренно командировал к заместителю главнокомандующего вместе с нарядом вызванных рабочих не кого-либо другого, а именно Дебу. Ему хотелось, чтобы барон при случае обратил на него внимание, потому что представление в прапорщики, о котором говорил капитан-лейтенант Стеценко, вполне могло завалиться и даже затеряться в Петербурге, особенно в такую пору. Слух о смерти императора Николая, державшийся втайне, то есть передававшийся всюду шепотом, дошел, конечно, и до рабочего батальона в адмиралтействе, и если сам Дебу под влиянием его воспрянул духом, то Смирницкий, как более знакомый с канцелярскими делами, решил, что лучше все-таки о производстве как-нибудь напомнить в штабе, чтобы отсюда согласились послать запрос в Петербург, в министерство.

Дебу, успевший уже узнать рабочих своей роты, взял из них наиболее расторопных плотников, кровельщиков, штукатуров, чтобы заделать все бреши в штабе как можно скорей и удачней. Говорить же ему советовал Смирницкий с самим Сакеном или, если уж совсем не явится возможности к этому, то с князем Васильчиковым, так как обращаться в канцелярию было бы бесполезно. Однако Дебу не представлял, как он будет говорить об этом: Сакен был недавний человек в

Севастополе, адмирал же Станюкович, хорошо знавший его, Дебу, был в это время в Николаеве, сдав свой пост командира порта Нахимову.

Однако ему не пришлось обращаться к Сакену с жалкими нотами просителя в неуверенном голосе: барон заговорил с ним сам, когда плотники заделывали развороченный пол в его кабинете.

К своему кабинету чувствуют понятную нежность даже и суровые главнокомандующие сухопутными и морскими силами, поэтому среди множества дел, связанных с ходом обороны и требующих его личного вмешательства и решения, Сакен все-таки уделил минуту внимания и рабочим.

— Да-а, вот какой может произойти случай, братцы! Какая-то залетела шальная ракета, и я... едва не был убит, братцы! — сказал он, как бы ища сочувствия у нижних чинов и обращаясь непосредственно к представителю их унтер-офицеру.

— Избави, господи, от напрасной смерти, ваше высокопревосходительство! — в тон ему, как бы от лица всей солдатско-матросской массы, ответил унтер-офицер, вытягиваясь перед ним сразу всеми несильными мышцами своего легкого тела.

— И господь не допустил до напрасной смерти! — торжественно протянул палец кверху Сакен.

— Слава тебе, господи, слава тебе! — истово перекрестился унтер-офицер, поглядев туда, куда был устремлен перст главнокомандующего.

Но перекрестился он не по-православному: он прикоснулся пальцами сначала к левому плечу, потом к правому, и Сакен тут же заметил это.

— Католик? — спросил он. — Поляк?

— Так точно, католик, но не поляк, а француз по отцу, ваше превосходительство, — отчетливо ответил унтер-офицер, и Сакен удивленно высоко поднял брови.

— Францу-уз?.. Вот как, скажи пожалуйста!.. Француз? А как фамилия?

— Дебу, ваше высокопревосходительство... Представлен к производству в офицерский чин и ожидаю производства.

— А-а? В прапорщики представлен? Это другое дело... Это — совсем особое дело...

Сакен смотрел на него очень внимательно, не опуская бровей, и Дебу думал уже, что вот неожиданно для него наступил благоприятный момент изложить свою просьбу, но подошел с какою-то бумагой Васильчиков и отвлек Сакена, который вышел вместе с ним из кабинета, а вскоре даже уехал куда-то.

Подходящий момент был упущен, однако Дебу счел большой удачей и то, что он как бы представился барону, и тот может уже теперь вспомнить о нем при других обстоятельствах.

Отчасти хорошо, пожалуй, думал Дебу, даже и то, что подошел Васильчиков и не пришлось докладывать Сакену о такой неприятности, как два года арестантских рот, отбытых в крепостце Килия за участие в кружке Петрашевского. Неизвестно ведь было, как мог бы посмотреть на это богомольный барон, недавно подавлявший революционное восстание в Венгрии.

Наконец, производство затянулось не для одного него только: и Бородатов, разжалованный два года назад, пока еще не получил тоже чина, к которому был представлен в прошлом еще году, а ходил, как и он, с двумя белыми басонами унтера на солдатских погонах.

Сакен же в этот день отправился на Северную сторону для осмотра войск, расположенных на Инкермане, и в одном из полков 17-й дивизии, которой командовал теперь назначенный на места Кирьякова генерал-лейтенант Веселитский, он поражен был внешностью полкового священника, иеромонаха Иоанникия.

Это был тот самый иеромонах, которого мельком видел в окно симферопольской гостиницы «Европа» Пирогов и окрестил его Пересветом, тот самый, потрясающий голос которого гремел в недозволенных песнях и, казалось, колебал колонны вестибюля гостиницы, — вот-вот рухнут.

Барон немедленно, лишь только поравнялся с ним, слез с лошади и подошел под благословение, но, получив его и с чувством приложившись к чрезмерно широкой лапе, усеянной рыжими веснушками, он не тут же сел снова на лошадь, он отступил на шаг, чтобы осмотреть как следует, с головы до ног, этого огромного и богатырски сложенного человека в черной рясе, с длинейшей, светлого волоса, тоже богатырской бородою, весьма пышно

разлегшейся на груди и достигающей до пояса. Серые глаза его глядели на барона, заместителя главнокомандующего, отнюдь не по-монашески смиренно и подчиненно, — напротив, светился в них как будто даже чуть-чуть насмешливый огонек.

— Откуда вы, батюшка, к нам? Из какой обители? — спросил Сакен, почтительно улыбаясь.

— Из Юрьевского, новгородской епархии, монастыря, ваше сиятельство, — пророкотал Иоанникий.

— Из Юрьевского?.. Это — архимандрита Фотия? — так и вспорхнул умиленным голосом Сакен.

— Точно так, застал я еще отца Фотия в последний год его земной жизни... По его же личному настоянию и монашество я принял: голос мой очень понравился. Так из новгородской духовной семинарии не в приход я попал, а в обитель Юрьевскую, ваше сиятельство.

Хотя Фотий умер уже лет семнадцать назад, все-таки Сакен проникся еще большим почтением к иеромонаху, который подходил под благословение к самому знаменитому архимандриту. Но сколько ни льстило ему, что этот богатырь в рясе зовет его «сиятельство», все-таки в присутствии князя Васильчикова он счел нужным заметить новому Пересвету:

— Не «ваше сиятельство», а прошу обращаться ко мне по моему чину, поскольку титула князя или графа я не имею.

Иоанникий, однако, не смутился этим замечанием; он ответил, чуть наклонив голову в черном клобуке:

— Предвижу в грядущем, что так именно и будут обращаться к вам все в воздаяние за ратные подвиги ваши.

Сакен оглянулся на Васильчикова, как бы призывая его в свидетели этого неожиданного пророчества, и, не найдя, чем бы ему отозваться на слова монаха, только приложил руку к козырьку и поклонился.

Иоанникий же продолжал невозмутимо:

— Для подвигов ратных и я, многогрешный, сюда прибыл, но вот уже два месяца томлюся в бездействии, ваше сиятельство... Почему и прошу оказать мне милость — перевести меня на бастионы, где, может статься, имеется вакансия священнослужителя.

— А-а! И вы тоже подвигов желаете?.. Это... это приятно слышать! Да

вы и есть воин, воин Христов, воин Христов истинный и в полном виде! — восклицал Сакен восторженно, отчасти под влиянием только что слышанного пророчества, отчасти искренне любуясь мощью Иоанникия. — Нет ли в самом деле вакансии у нас в гарнизоне? — обратился он к Васильчикову.

— В Камчатском полку заболел священник тяжелой болезнью, третьего дня положили в госпиталь, — припомнил Васильчиков.

— А-а, ну вот, стало быть, в Камчатском, одиннадцатой дивизии, — оживленно обратился к иеромонаху Сакен. — Тогда, в этом случае, можно вас, батюшка, прикомандировать для несения святых ваших обязанностей к Камчатскому полку!

Иеромонах, удовлетворенно дернув бородою кверху и склоняя ее вниз, прогромыхал благодарность, снова величая «сиятельством» барона, который, чинно откланявшись, направился, наконец, к своей лошади.

III

Севастополь строился и укреплялся под личным попечением, а временами и наблюдением Николая.

Со всеми своими монументальными фортами и казармами, на которые пошло тесаного камня неизмеримо больше, чем на прославленные египетские пирамиды Хеопса и Хефрена, эта крепость была слаба уже тем, что узка, зажата в тугой кулак и однобока: обращена лицом только к морю, как будто суша около нее должна была сама собою провалиться вместе с интервентами, чуть только им вздумалось бы на нее вступить, и не в какой больше защите не нуждалась.

Старательно создавая в России в течение долгих лет бессмысленно-труднейшую жизнь, Николай I поставил и Севастополь с первых же дней осады в бессмысленно-труднейшее положение в деле защиты.

Точно сказочно-гигантский по своим размерам подъемный кран должен был вдруг, без минуты промедления, захватить все целиком такие дорого стоящие государству военные силы, как флот Черного моря, и, роняя часть кораблей на закупорку входа в бухту, выбросить все экипажи с орудиями и запасами снарядов на кое-как, впопыхах, состряпанные бастионы.

Кран этот все-таки повернулся, описав огромную дугу и кряхтя под тяжестью выпавшей на него неразумной задачи; выброшенные им на сушу моряки защищали родной город на своих бастионах, как защищали бы в открытом море честь русского андреевского флага, со всем упорством и со всей отвагой. Но таяло и таяло их число... Черноморский флот истреблялся, хотя и собственными руками, которые топили его в ненасытном фарватере Большого рейда; русские моряки гибли сотнями и тысячами, хотя и не в привычной для них стихии, а на суше.

Сухопутная же армия хотя и посылалась мелкими и крупными частями на выручку и шла, преодолевая огромные расстояния, и вливалась в ряды уцелевших первоначальных защитников, но ей приходилось соперничать в быстроте передвижения с пароходами интервентов, и пароходы неизменно побеждали: превосходство сил оставалось на стороне противника.

Исход борьбы за Севастополь был уже почти предreshен к концу февраля, хотя никогда ни раньше, ни позже положение осажденных не было лучше. Но вот слух о смерти Николая, исходивший от интервентов, подтвердился: его привез генерал-адъютант Паскевич, командированный из Петербурга, чтобы привести Крымскую армию к присяге новому императору.

Итак, перестало быть тайной для войск, что Николай умер; стало известно и то, что Меншиков более уж не вернется в Севастополь как главнокомандующий, что другой кит армии русской — фельдмаршал Паскевич — неизлечимо болен (раком желудка, как оказалось впоследствии) и что третий кит, Горчаков 2-й, скачет сюда из Кишинева брать оборону Севастополя и Крыма в свои старые и ненадежные руки.

Было над чем задуматься не одному только Остен-Сакену, а всем вообще защитникам Севастополя, Крыма, Новороссии, от фурштатского солдата до генерала, и действительно это был момент немалой растерянности среди командиров отдельных частей, но младшее офицерство, а тем более матросы и солдаты отнеслись к этому вполне спокойно.

Последние только спрашивали друг друга, как надо полагать, — не

выйдет ли замирение, не добьется ли его новый царь, и кто-то пустил совершенно нелепый слух, будто великий князь Константин, генерал-адмирал, идет на выручку Севастополя с американским флотом. Но хоть что-нибудь, — американский так американский флот — все-таки некоторая отрада для сердца.

Присягу новому царю приняли полк за полком совершенно равнодушно. Все понимали нутром только одно: надо отстоять Севастополь; что же касается царя на престоле там, в Петербурге, то не все ли равно, как его зовут — Николай или Александр? Здесь, на бастионах и около них, дело было не в том или ином царе, а в штуцерах и мортирах противника, в ружьях и пушках своих, в ночных работах до упаду, в мертвом дневном сне в вонючих блиндажах, в насекомых, которые неустанно грызли тела, в черных, наполовину гнилых сухарях, которые нужно было грызть им самим, во многом другом еще и, наконец, в погоде, хотя в любую погоду, конечно, можно было проститься с жизнью, но дождь, назойливый зимний крымский дождь, и невылазная грязь очень портили настроение, а к смерти кругом привыкали быстро даже и молодые солдаты новоприбывших полков.

К ней нельзя было и не привыкнуть: она была везде как днем, так и ночью, как в пятипудовой бомбе, так и в певучей штуцерной пуле, и ей безразлично было, вышел ли солдат в ложемент перед бастионами как стрелок, или копает он неподатливую каменистую землю и таскает ее на разрушенный бомбардировкой бруствер.

IV

Два перебежчика-француза, и не рядовые, а сержант и капрал, дали в главном штабе показания, очень встревожившие Сакена. По их словам выходило, что минные галереи французов доведены уже до такой близости к четвертому бастиону, что не сегодня-завтра можно ожидать общего взрыва бастиона, а вслед за ним и штурма.

Показания эти были переданы Сакену утром в тот самый день, когда назначено было закладывать третий редут на подступах к Малахову кургану, и Сакен вызвал к себе Тотлебена для совещания.

Перебежчики бывали часто с наступлением зимы; особенно много их

было в холодные дни. Можно было думать, что с большим риском получить пули от своих или от русских они бежали в Севастополь только затем, чтобы погреться.

Больше всего перебегало плохо одетых турок, египтян, арабов, но немало было ирландцев из английских войск, а также словаков, пьемонтцев, немцев, мадьяр из иностранного легиона. Меньше было французов, как лучше обеспеченных одеждой, провиантом, жильем.

Эти двое сказали, что были очень обижены своим начальством, почему и бежали. Когда их спросили, чем они намерены заняться в России, то сержант объяснил, что он — хороший гравёр и думает найти себе достаточно работы, чтобы, женившись, прокормить семью; капралу же непременно хотелось *faire quelque classe en Russie*, то есть быть учителем русских детей, как многочисленные пленные из наполеоновской армии двенадцатого года.

Показание их насчет французских минных галерей, где будто бы были уже приготовлены усиленные горны для взрывов четвертого бастиона, очень изумило Тотлебена и даже возмутило, как явная ложь.

— Но ведь я только вчера был, ваше высокопревосходительство, на этом самом бастионе номер четвертый и смею доложить, что нашел там все решительно именно в таком точно виде, как и третьего дня, когда мы взорвали там горн, как об этом я и доносил в подробном рапорте! — горячился Тотлебен. — Минную войну и именно там, на бастионе номер четвертый, начали мы, а не французы, как я уже однажды имел честь об этом докладывать вам, ваше высокопревосходительство... Я распорядился еще в ноябре месяце заложить там колодцы во рву, а уж после меня, в том же самом глинистом слое, начали вести свои работы французы, и мы произвели несколько взрывов, и все взрывы прошли очень удачно, а французы только два всего, и, к моему личному изумлению, очень слабосильных, чего я даже и объяснить не умею не чем иным, ваше высокопревосходительство, как только плохой работой их инженеров! Нет, я считаю, что-о... я осмеливаюсь полагать, что наступление противника на правом фланге совершенно приостановлено именно нашими минными работами, а это в свою очередь позволяет нам теперь действовать наступательно на нашем левом фланге, у холма

под названием Кривая Пятка.

Сакен слушал его внимательно и качал одобрительно головой; но вдруг он выставил вперед ладонь и энергично опустил руку до самого пола, склонясь и сам туда, к полу, вслед за своей рукой.

— А что, если они ведут свои ходы там, там, под вашими рукавами и прочее, а? — спросил он, таинственно прищурясь.

— Контрмины под нами? — слегка улыбнулся Тотлебен. — Нет, ваше высокопревосходительство, это есть невозможно, по причине скалистого грунта на оч-чень большую глубину, как я лично в том убедился. Но действительно вы правы, история минного искусства знает такие случаи, когда контрмины велись под минными галереями и слуховыми рукавами на большой глубине, ну, и потом, разумеется, следовали за этим непредвиденные для противника взрывы с блистательными результатами, но скала, как я уже докладывал, скала грандиознейшей глубины нас от этого защищает... Даже и на той глубине, на которой сейчас мы ведем работы, а также и французы, — в глинистом слое в шесть-семь футов, — должен я сказать, ваше высокопревосходительство, есть оч-чень тяжелая работа. Люди задыхаются, а вентиляторы наши, которые мы из адмиралтейства получаем, действуют плохо, часто портятся, и мы их вынуждены обратно отсылать для починки. Так мало там воздуха, что и свечей зажигать нельзя, — работают люди в полной темноте... Часто бывает, что не туда выводят рукава, куда бы хотелось. Затем, как я уже докладывал ранее, оч-чень мешают грунтовые воды. Саперов-минеров у нас мало; присылают для работ простых пехотных солдат, которые под землей даже и не работали никогда... Все это есть наши большие минусы, однако мы в минном искусстве ок-кончательно побеждаем французов.

— Так, так, мой милый Тотлебен, успехи ваши, как говорится по-русски, все налицо! Но вот вопрос: отчего же перебежчики докладывали насчет контрмин, любопытен я знать?

— Ну, это же так очевидно просто, ваше высокопревосходительство! — улыбнулся Тотлебен. — Они хотят показать нам... считают это даже знаком необходимости, что раз они перебежали к нам, то надо же не с пустыми руками к нам показаться, а принести что-нибудь нам в

презент. Вот и придумали они эти контрмины, которых не только в натуре нет, но даже и быть не может. Однако все-таки сочту я святым своим долгом отправиться лично на нумер четвертый, чтобы там на месте опровергнуть все эти басни, ваше высокопревосходительство.

Простившись с Сакеном, Тотлебен поехал на четвертый бастион, где он бывал почти ежедневно, который он знал и наземно и подземно, как свою квартиру.

Он убежден был, что перебежчики ввали или говорили с чужого лживого голоса (сами они не были саперами), но вместе с тем он помнил и тот, сработанный литографским способом в Париже, план осады Севастополя, который дан был ему Меншиковым еще в декабре. К бывшему главнокомандующему этот план попал вместе с одним раненым и взятым в плен во время вылазки французским штаб-офицером. Кроме того, что на плане была подробно показана минная галерея против четвертого бастиона, что вполне подтвердилось, на нем обозначена была и пороховая камера как раз под исходящим углом бастиона.

Хотя он уже двадцать раз убеждался, что так далеко, как на этом плане, французские работы не пошли, наткнувшись на русские мины, но он видел, что французы — противник очень упорный: может быть, и в самом деле им удалось докопаться со своей стороны до нового, глубоко залегающего слоя глины, до которого не сумел дойти он?

Подъезжая к боевому бастиону, он видел, что все было так же, как он привык видеть все последние дни: пустые улицы окраины города, живописно раскинутые разбитые дома, все без крыш, но многие с трубами печей, — прекрасные места для русских стрелков, которые залпами будут встречать противника, если когда-нибудь он все-таки отважится на штурм; наконец, одиноко стоящий костел, тоже изувеченный ядрами, последнее здание, за которым тянется пологий подъем к бастиону; а вот уже и первая траншея, и посвистывают «молоденькие», как солдаты зовут, штуцерные пули Минье, с чашечками и стерженьками.

Передовые траншеи французов здесь были ближе, чем где бы то ни было в других точках оборонительной линии, — всего в полтораста

метрах. Бывало так, что осколки разорвавшихся в этих траншеях русских бомб, рикошетируя, летят обратно и поражают прислугу у русских орудий, а осколки французских бомб отправляются тем же порядком назад калечить своих; штуцерники же той и другой стороны не дают даже и на момент показаться из траншеи никому; как-то высунула голову ротная собака и тут же была убита; чуть приподнимет из траншеи шутки ради свою фуражку русский солдат, воткнувши ее на штык, и фуражка эта тут же вызовет на французской стороне с десяток ружейных дымков и упадет, пронизанная пулями.

Что положение здесь создалось весьма напряженное, Тотлебен знал, конечно; что одного только приказа Канробера не доставало для штурма, это было очевидно для всех; и все-таки приказ этот не отдавался, и Тотлебен был убежден, что охоту к штурмам здесь отбили у французов удачные минные работы, произведенные под его руководством.

Оставив свою верховую лошадь сзади блиндажа начальника этой дистанции, адмирала Новосильского, он пошел по бастиону, по-хозяйски оглядывая все кругом.

В траншеях, сидя и полулежа в самых беспечных позах, точно отдыхая на поденщине, густо набились серошинельные солдаты, площадка же бастиона имела вид кротовин на лугах: она вся была покрыта большими и малыми блиндажами, заметными только по невысоким кучкам земли, насыпанной на накаты из толстейших дубовых бревен. Выше других торчала насыпь над пороховым погребом.

Так как время стояло полуденное, то насыпи были наполовину уже расплесканы артиллерийскими снарядами: тысяча рабочих рук пехотных солдат будет их восстанавливать ночью, как и раньше. Насыпи были то желты от глины, то белесы от примеси известняка, и только входы в блиндажи слабо чернелись.

Прикрыт был накатом из бревен и насыпью и спуск в мины, почти рядом со входом в пороховой погреб, — ближайший спуск: минных колодцев было много, больше двадцати, но они расположены были во рву, за валом, и доступ к ним теперь, днем, был невозможен. Теперь шла обыденная боевая работа, грохотали пушечные выстрелы, причем

нельзя было даже со стороны и разобрать, какие свои, какие чужие, — так близко друг от друга стояли наши и их батареи. Шла в то же время и оживленная штуцерная перестрелка, но это было здесь больше видно, чем слышно. Ружейные выстрелы совершенно тонули в пушечном громе, но штуцерные второй линии то и дело перебегали в первую, поднося стрелкам заряженные штуцеры, чтобы стрельба велась без перебоя.

Опытный глаз Тотлебена, только скользнув взглядом по валу, в котором среди гор земляных мешков стояли орудия, заметил, где и какие были новые повреждения; но его теперь занимала только минная галерея и слуховые рукава.

Там, в земле, безвыходно жил командир одной из рот саперного батальона штабс-капитан Мельников, которого моряки прозвали «обер-кротом». Этот обер-крот и был правой рукой Тотлебена. Все подземное здесь было его хозяйство. И через несколько минут, спустившись в мины около порохового блиндажа, Тотлебен сидел на земляном диване, покрытом ковром, в «трюме» у Мельникова.

V

Это была ниша, сбоку минного хода, отделенная от него большим ковром; коврами же были увешаны и стены. Возле одной из стен стояла печь; посреди этой подземной комнаты утвержден был стол, и на нем стоял самовар, горела свеча в бронзовом шандале и лежали «Мертвые души», раскрытые на том месте, где описана игра Чичикова с Ноздревым в шашки.

Мельников, крепкого сложения человек, но от недостатка воздуха и от полного отсутствия солнечного света совершенно желтолицый и истомленный, радостно засуетился, когда вошел к нему его начальник: любитель минного дела с большим уважением относился к такому знатоку этого дела, каким был Тотлебен; притом же и Тотлебен высоко ценил своего помощника и представил его к Георгию за удачно проведенный им взрыв усиленного горна недель пять назад: белый крест свежо красовался на груди молодого штабс-капитана.

— Я хотел бы знать, Александр Васильевич, — старательно выговаривая отчество, обратился Тотлебен к «обер-кроту», — что бы

вы мне сказали, если бы услышали, например, что нас... как бы это выразиться... что, одним словом, желают нас взорвать французы...

— Бастион взорвать? — очень удивился Мельников. — Тут одного желания мало!

— Именно, да... но тем не менее говорят, что этого мы должны ожидать на этих днях.

— Кто же осмелился говорить такое? — улыбнулся «обер-крот».

— «Осмелился», да... Вы очень хорошо подобрали слово... Осмелились сказать это перебежчики-французы!

— Голая выдумка! — потрянул Мельников отросшими здесь, в подземелье, и влажными от сырости русыми волосами.

— А если сделать действительное допущение, что они идут к нам под нашим нижним ярусом?

— На какой же именно глубине они могут идти?.. В шести разных местах делали колодцы по вашему же приказанию, — и скала чем ниже, тем крепче.

— Это-то действительно так, но, однако, этот результат есть наш результат, а у них может быть противоположный... вдруг, представим эт-то, они натыкаются на глинистый слой и...

Оба глядели друг на друга испытующе, и Мельникову показалось, что его начальник мило шутит. Может быть, просто отклонился слабенький синий язычок свечи, и от этого тени на круглом лице Тотлебена сложились в подобие улыбки; поэтому Мельников широко улыбнулся сам и ответил:

— До глинистого или другого мягкого слоя им, может быть, придется долбить скалу на целую версту, а при таком сопротивлении газам всего пороху Франции не хватит, чтобы нас взорвать!

Тотлебен присмотрелся к его нездоровому, желтому лицу и заметил:

— Только бы вам не заболеть здесь, — эт-то было бы большим ударом для дела и для меня... Вы все-таки почаще гуляйте себе наверху... Что же касается минного искусства, то вы, конечно, есть большой энтузиаст, Александр Васильевич, но я ведь тоже есть большой энтузиаст, поэтому необходимо мне самому покороче познакомиться с положением дел.

Это сказано было серьезным тоном, притом Тотлебен поднялся,

отказавшись от чая; тут же вскочил с места и Мельников и принялся натягивать шинель.

«Мертвые души» на его столе Тотлебен видел не раз, однако же отогнул переплет и поднес книгу к свечке, чтобы прочитать заглавие.

Они пошли очень знакомыми им обоим, низкими для их роста и узкими ходами в земле сначала с огарком свечки, потом, когда огонек потух, впотьмах. Но кротовые ходы эти, обделанные креплением из столбов и досок, были не безмолвны, местами даже гулки: тут работали — перетаскивали мешки с землей, и слышно было трудовое кряхтенье и, кроме того, чавканье грязи под неразборчивыми, тяжелыми солдатскими сапогами.

— Держи влево! Командир! — однообразно покрикивал Мельников, чтобы разойтись со встречными в кромешной темноте и узости.

Местами приходилось не столько идти, сколько продираться почти ползком, до того узки и низки были мины. Конечно, на человека свежего это могло бы произвести непереносимое впечатление могилы, гроба, но Тотлебен знал, что тут слишком близко подошел скалистый грунт, а несколько дальше станет снова и выше и шире.

В слуховых рукавах, когда до них добрались, он спрашивал минеров, не слышно ли работ французов киркою ли, топором ли, долотом, или скобелем, или скрипа их тележек, увозящих землю, недоверчив был к однообразным ответам: «Никак нет, вашвсокбродь, ничего не слышать!» Присаживался на корточки, прикладывал ухо к земле и слушал сам.

Он всячески изощрял и напрягал слух, однако никаких стуков не слышал; подымался и двигался дальше.

Когда дошел до того места, где русский минер почти вплотную столкнулся с французским, причем французы сконфуженно бросили свои мины и ушли, Тотлебен остановился, чтобы что-то обдумать и рассчитать про себя, благо тут горел фонарь.

Здесь была уже заготовлена по его распоряжению порядочная порция пороху, засыпанного землею, и около был расположен пост, наблюдавший за французскими минами.

При каждом взрыве с русской стороны горнов или комуфлетов между линиями укреплений, на том узком пространстве, которое разделяло

противников, образовывались воронки. Эти воронки бывали иногда около десяти метров и больше в диаметре, и за обладание ими завязывалась борьба с наступлением сумерек и ночью.

Тотлебен обдумывал, стоит ли тратить порох для нового взрыва, и, наконец, сказал Мельникову:

— Сегодня вечером мы закладываем новый редут, а чтобы быть более точным — люнет, это гораздо целесообразнее, — впереди Селенгинского и Волынского, так вот, чтобы показать господам французам, что мы бодрствуем тут, на нумере четвертом, а там — скромны мы есть и тихи, надо взорвать этот горн сегодня же, когда все к этому у вас будет готово.

— Слушаю, — отозвался Мельников. — Взорвем.

Тотлебен на обратном пути не миновал и бастионного рва, в котором расположил большую часть минных колодцев, между ними и те самые глубокие, но брошенные из-за твердейшей скалы. Начальник севастопольских инженеров сам опускался в два из них, чтобы лишний раз убедиться в том, что инструменты не могли сладить со скалою дальше, хотя саперы и прошли уже в ней на несколько сажен ниже второго яруса галерей.

— Нет, если только французы не имеют каких-нибудь новых, нам неизвестных сверлильных машин, — сказал он, наконец, Мельникову, — то мы от них в безопасности, а это добро — сержанта их и капрала — не мешало бы отправить к ним обратно... Итак, горн, Александр Васильевич, взорвите, а я пойду предупредить об этом адмирала.

Через ров летели пули свои и чужие, гранаты и ядра из орудий прямой наводки, и часто залетали сюда осколки, ежедневно насчитывалось два-три человека потери от осколков. Но минные колодцы были прикрыты накатами из бревен, и обязанностью рабочих при штурме противника было — всем выбегать из галерей в ров и защищать входы в них штыками до последней возможности.

Чтобы пороховые газы и дым не пошли в свою же галерею, заранее забаррикадировались мешками с землею на несколько сажен в толщину, теперь же только провели к пороху гальванические запалы, а кроме них, не вполне доверяя вольтову столбу, еще и желоба, наполненные порохом, — «сосисы»... Между тем выбравшийся на

площадку бастиона Тотлебен тем временем посвящал в свой замысел вице-адмирала Новосильского.

Заработавший уже Георгия на шею, высокий, всегда спокойный и уверенный в себе адмирал тут же послал приказ усилить огонь штуцерный и картечный на случай, если будут выскакивать из своих траншей французы, как это бывало всегда при прежних взрывах.

Началась оживленная перестрелка, но она не заглушила подземного гула, удалявшегося в сторону французов, и под ногами у всех на четвертом бастионе задрожала земля.

Вот повалил, вырываясь из поднявшейся грибом почвы, густой дым, полетели кверху камни, как при извержении миниатюрного вулкана, стали выскакивать на бруствер французские стрелки, пальба сделалась еще чаще, и, как мастер своего дела, наблюдавший все это, Тотлебен сказал Новосильскому:

— Прекрасно!.. Теперь остается только занять воронку... А я поеду на Малахов, и что бы ни говорили мне теперь эт-ти, эт-ти там разные мерзавцы, я за ваш бастион спокоен... Желаю здравствовать! VI

Кусок неуютной, безрадостной голой земли, как всякий другой около, и на нем ничего, кроме этого холма, именуемого Кривой Пяткой. Так как здесь рвали когда-то перед войною камень для построек, то везде по холму и кое-где рядом с ним валяются крупные и мелкие обломки белого известняка. Обтесанные укладистые плиты вывезли отсюда в город, — обломки остались, и между ними всюду пробивается наивная молодая травка, первая яркая весенняя зелень.

Это-то именно место и наметил Тотлебен для устройства незамкнутого редута, то есть люнета, в расстоянии трехсот пятнадцати сажен от Малахова кургана, и с неизменной точностью, которая его отличала, лишь только сгустились сумерки, он был уже здесь, размечая на земле будущую линию первичной траншеи.

Батальон Камчатского полка был назначен сюда на земляные работы, и саперный унтер-офицер Бородатов, разжалованный из поручиков, но ожидающий скорого производства в прапорщики, руководил одним из участков работ, находясь в подчинении у своего же бывшего товарища инженер-штабс-капитана Сахарова.

Вперед была выслана рота, которая рассыпалась в цепь, чтобы

малыми саперными лопатками и мотыгами выкопать к утру ложементы и в них залечь до вечерней смены.

Уходя туда, в сомнительный сумрак, в сторону французских батарей, говорили тихо старые солдаты молодым из пополнения:

— Под Стуков монастырь идем... Как, сердце не ёкает?.. Ничего, не робь, — какая не наша, так нас не тронет, а если уж наша, от нее все одно нигде не спасешься: она и в палатке найдет.

Паруса, снятые с тех кораблей и фрегатов, которые были потом затоплены, пошли на палатки, и в таких палатках, в одной из балок на Корабельной стороне, размещен был Камчатский полк. Как ни укрыт был этот лагерь от противника, но и туда залетали иногда снаряды, пущенные навесно.

Французы, пришедшие на этот фронт на помощь англичанам, очень деятельно строили свои укрепления на высотах и устанавливали в них дальнобойные мортиры.

Зеленый Холм, как они прозвали Кривую Пятку, очень пленял живое воображение их инженеров, но наука осады крепостей требовала строгой последовательности действий, а не скачков в неизвестное; просторные, чтобы было где укрываться многочисленному резерву при атаках, траншеи их подходили строго классическими зигзагами, почва же была неблагоприятная — неподатливая, каменистая, кроме того, все крупные орудия Малахова кургана, так же как и орудия двух новопоставленных редутов — Селенгинского и Волынского, — сильно затрудняли их работы метким огнем.

Англичане, общее число которых под Севастополем не достигало теперь и третьей части числа французов, сосредоточивались против третьего бастиона, неприступного Редана; они следили с чисто спортсменским интересом за соперничеством своих союзников и русских и держали между собою азартные пари, кто скорее овладеет Зеленым Холмом, с которого, при удаче французов, можно было громить остатки русского Черноморского флота.

Если со смертью Николая, совпавшей с отставкой Меншикова и назначением в Крым Горчакова, вводилось неизбежное новое в дело обороны Севастополя, то и во французской армии в Крыму к этому времени введено было новшество, имевшее огромное значение для

дела осады. Армия эта была разделена на два сорокатысячных корпуса, и одним из них начал командовать способнейший генерал Боске, другим же — вызванный нарочно для этого из Алжира Жан-Жак Пелисье.

Первый корпус оставался там же, где были расположены его дивизии и раньше, — против Городской стороны; вести же атаку против Малахова кургана поручено было второму корпусу под командой Боске.

Непосредственно при главной квартире, у Канробера, в виде общего резерва оставалось всего несколько тысяч человек, и хотя он по-прежнему был главнокомандующим, но авторитетнее его выступал на военных советах личный адъютант и представитель Наполеона генерал Ниэль, который и указал на Малахов, как на ключ всех севастопольских укреплений. И в то время как Канробер писал свои донесения о ходе осады военному министру, маршалу Вальянну, Ниэль — непосредственно Наполеону.

Это было время полного охлаждения отношений Канробера к лорду Раглану: как ни пытался он расшевелить старого маршала Англии, красноречивый Раглан находил десятки причин для объяснения медленности своих действий против Редана, а между тем отсутствие поддержки англичан задерживало Боске в его стремлении овладеть Зеленым Холмом.

Все-таки Боске обещал Канроберу непременно занять этот холм 1/13 марта, но вот в ночь с 26 на 27 февраля камчатцы уже складывали в гряды обломки белого камня, как им указывали Сахаров и Бородатов, и под прикрытием этой гряды начали долбить кирками и отбрасывать лопатами землю, проводя траншею широкого, на четверть версты, охвата, в виде неполной, несомкнутой снизу трапеции.

Ночь была исключительно благоприятна: моросил мелкий дождик, луна таилась за тучами, посылая все-таки достаточно света, чтобы видеть в нескольких шагах.

Тотлебен, встретив батальон, торжественно, хотя и не в полный голос, сказал солдатам, что они своей работой в эту ночь спасут Севастополь, и солдаты работали истово, проникаясь важностью выпавшей на их долю задачи.

Никто из них не курил под отвернутой полою шинели даже здесь, на линии траншеи, не только там, где устраивались ложементы; переговаривались они хриплым шепотом не повышая голоса, даже когда переругивались друг с другом; старались стучать кирками как можно глуше и землю лопатой укладывать осторожно, а не швырять с размаху на вал.

Может быть, и сами не догадываясь о том, они действовали здесь ночью как опытные воры, и они действительно крали у генерала Боске, у его второго корпуса, у всей армии французов, у всей союзной армии, у Франции, у Англии, у Турции курган Зеленый Холм, на котором через два-три дня должны были по всем расчетам стоять французские тридцатисантиметровые мортиры, чтобы под их прикрытием еще через несколько дней внезапным штурмом в больших силах захватить неожиданно вскочившие перед Малаховым два досадных редута, а может быть, и всю Корабельную и тем блистательно закончить осаду.

Впереди, в секретах, лежали пластуны под командой своего неизменного батки шестидесятилетнего есаула Даниленка, который вот уже несколько месяцев провел на аванпостах, но не был ни разу ранен. Пластуны доносили, что со стороны французов слышны им стуки кирок и лопат: там тоже усердно работали в траншеях, проклиная каменистый грунт. С виду тихая, дождливая ночь полна была напряжения и пылких надежд.

Офицеры батальона не сходились кучкой, как это непременно сделали бы на ученье; каждый ротный был на участке своей роты, а младшие офицеры при своих взводах. Дело шло, хотя и не так успешно, как того хотелось бы саперам; но шло и время, и уже подвигалось к трем часам утра, когда какой-то рокот, точно от тарахтящей по камням телеги, раздался на левом фланге работ.

— Что это? Что там такое? — встревоженно пробормотал Бородатов, бывший недалеко от левого фланга.

Пожилой рядовой солдат, работавший около него, выдохнул горестно:

— Э-эх! Всю нам обедню испортил!.. Это же наш новый батюшка, кажись...

— Батюшка ваш?.. Священник?

— По голосу будто он, так точно.

— Зачем же он тут?.. Добеги, скажи, что нельзя тут! — заторопился Бородатов, потому что продолжался рокот.

— Слушаю! — И солдат, пригнувшись, точно его могли разглядеть и поднять пальбу французы, побежал на левый фланг окопа.

Это действительно был иеромонах Иоанникий.

— Батюшка! Нельзя так! Вполне нехорошо! — укоризненно и сразу выпалил солдат вполголоса первое, что пришло на ум.

От монаха пахло водкой.

— Ты-ы что это за птица такая? — чуть не в голос рявкнул Иоанникий.

— Девятой роты рядовой Егор Мартышин! — привычно на вопрос «кто?» ответил солдат шепотом и добавил: — А вас прошу, батюшка, неприятелю знать не давайте-с!

— Как же ты смеешь мне вдруг... слова такие? — изумился Иоанникий.

— Послан я начальством, а не сам...

Но тут подбежал уже и сам Бородатов, шипя:

— Тише! Пожалуйста, тише!

— А ты кто такой? — обратился к нему Иоанникий.

— Мне принято говорить «вы»: я офицер!.. Говорите, пожалуйста, шепотом. Что вам здесь нужно?

— Как так «что нужно»? — несколько как бы опешил монах. — Я пришел к своим овцам духовным, а ты...

— Никаких овец тут нет, тут — защитники отечества... Прошу вас, оставьте нас сейчас же!

— Так я тебя взял и послушался такого! — буркнул монах.

— Иди доложи командиру батальона! — повернулся к Мартышину Бородатов.

Мартышин метнулся в темноту, успев только сказать при этом:

— Вот наказание осподне!

— Я вас умоляю, батюшка, вернитесь в свою палатку, — очень просительно и учтиво, насколько мог себя осилить, проговорил Бородатов.

— Те-те-те!.. Три шага вперед! Разевай рот!.. Имя? — командным тоном, хотя даже и не в четверть своего голоса, но с выражением отозвался ему Иоанникий.

Это была придуманная им самим команда солдатам, которые говорили у него на первой неделе шедшего теперь великого поста.

Мартышину не пришлось далеко бежать: командир батальона майор Лештуков поспешно шел уже сам на неожиданный шум на левом фланге. Подойдя к монаху, он взял его под локоть и прошептал внушительно:

— Пойдемте-ка, батюшка, в лагерь!

Он повернул его кругом и, к удивлению Бородатова, выпивший огромный иеромонах безмолвной тенью пошел рядом с ним.

— Проводи-ка своего батюшку до лагеря, а то еще заблудится, — попадет к французам, — сказал Бородатов Мартышину Егору.

— Вот наказание с таким! — отозвался Егор прежним тоном и ринулся, уткнув голову в плечи, следом за уходившими, понимая без дальних расспросов, что батальонный не может же далеко уйти от своего батальона, а подвыпивший иеромонах действительно, пожалуй, не найдет один обратной дороги к лагерю.

Чуть забрезжила утренняя полоса на море, отделяя воду от неба, вернулись лишние люди из ложементов и пластуны со своим заколдованным есаулом. В ложементах остались только штуцерники, а в вырытой за ночь траншее в полной безопасности от пуль можно уже было продолжать работы и днем.

И когда развернулось утро, те из англичан против третьего бастиона, которые держали за русских, торжествующе получали с проигравших пари.

Правда, пока через Зеленый Холм и в обе стороны от него протянута была только узенькая ленточка окопа, но заметно было, что кирки и лопаты продолжали там действовать неумолимо, и дымки выстрелов белели, расплываясь впереди окопа из ложементов: там русские охотники перестреливались с французскими «головорезами» из своих ложементов.

Французы были поражены. Они открыли по русским работам на Зеленом Холме оживленную пальбу из орудий, но на защиту новорожденного люнета выступили батареи с Малахова, а вечером сюда на работу пришли уже остальные батальоны Камчатского полка, и люнет от полка, давшего ему жизнь, получил и свое имя. Впрочем,

чаще потом звали его просто Камчаткой.

Глава вторая. Истомин

I

Это было несколько странно, пожалуй, однако оказалось вполне возможным, что два адмирала враждебных армий — командующий английской эскадрой в Черном море Лайонс и командующий 4-й оборонительной дистанцией, центром которой был грозный Корниловский бастион, Владимир Иванович Истомин, — обменялись дружественными письмами в конце ноября — начале декабря 1854 года.

Они познакомились в водах Средиземного моря за несколько лет до войны, и Лайонс в своем письме вспоминал это. Между прочим, он припомнил и то, что Истомину очень нравился честерский сыр, и вместе с письмом прислал ему с парламентом этого сыру.

Истомин приказал зажарить седло дикой козы, как самое вкусное место этой дичи, и, одарив им Лайонса, послал ему такое письмо:

«Любезный адмирал! Я был очень доволен вашей присылкой; она привела мне на память наше крейсерство, от которого сохранились у меня неизгладимые впечатления, и вызвала передо мной со всей живою обстановкой то время, какого теперь нет. Я не забуду Афины и Мальту.

Ныне, через столько лет, мы опять вблизи друг от друга; но хотя мне и можно вас слышать, чему доказательством служит 5/17 октября, когда голос мощного «Агамемнона» раздался очень близко, но я не могу пожать вам руку.

В таких-то слишком, по-моему, церемонных формах благодарю я вас за добрую память и за дружескую присылку. Позвольте мне в свою очередь предложить вам добычу недавней охоты: крымские дикие козы превосходны.

Вы отдаете справедливость нашим морякам, любезный адмирал; они действительно заслуживают похвалу судьи, столь сведущего, но, как мне кажется, несколько взыскательного. Они — наша гордость и наша

радость!..

Примите, любезный адмирал, изъявление моей преданности».

Упомянутый в этом письме трехдечный корабль «Агамемнон» был флагманским судном; на нем Лайонс, руководя обстрелом Северной стороны, ближе всех других боевых единиц английской эскадры держался перед фортами и энергичнее всех осыпал их снарядами.

Что адмирал Лайонс непримиримый враг России, Истомин знал. Кроме того, он знал и то, что Лайонсу в начале войны казалось легкой задачей овладеть Севастополем: это он высказывал неоднократно и устно и в печати. На зимнюю кампанию он не только не рассчитывал, но над слишком осторожными, которые боялись такой возможности, ядовито смеялся. А между тем зимняя кампания наступила, так как осень не принесла интервентам никаких положительных результатов, буря разметала их флот, английская армия потеряла свое значение после побоища при Инкермане...

Ответить Лайонсу ввиду всего этого так, как он ответил, Истомин считал долгом общепринятой вежливости при этом мимолетном перемирии между ними двумя, допущенном явочным порядком. Однако в том же письме он отметил неджентльменский поступок парламентаря, посланного Лайонсом, добавив такие строки:

«Заговорив о морском деле, пользуюсь случаем, чтобы заявить об одном обстоятельстве, которое, без сомнения, есть дело случая, но которое, если будет повторяться, то может повлечь к неприятностям. В последний раз стимер, посланный для переговоров, подошел к самым пушкам крепости, тогда как он должен был вне линии наших огней дожидаться гребного судна, высланного к нему навстречу. Вы хорошо сделаете, сказавши словечко на этот счет, и вперед, конечно, не выйдет недоразумений».

Несомненно, что лорд Лайонс оставался в этом эпизоде вполне верен себе и, нагрузив своего парламентаря прелестным честерским сыром для любителя его — русского адмирала, в то же время заставил парламентаря сыграть и роль разведчика, чтобы привезти сведения о внешнем состоянии фортов.

Но Истомин, всего себя без остатка отдавая делу защиты Севастополя, не мог этого не отметить в своем письме, хотя и в выражениях,

подобранных очень тщательно.

Английский офицер, правда, хотя бы и подбравшись к самым русским фортам, многого увидеть там не мог, однако не принято было, считалось даже зазорным по правилам войны парламентару выходить из своих рамок и заниматься соглядатайством. В этом не видел доблести Истомин, и если бы сделал подобное русский моряк, он был бы осужден за это своим адмиралом.

Во время Синопского боя действия стопушечного корабля «Париж» под командой Истомина, тогда капитана 1-го ранга, привели в восторг даже такого строгого службиста, как Нахимов: действовать тогда как-нибудь еще удачнее, еще успешнее было уже невозможно.

И этот предел исполнительности, точности, бесстрашия, полного спокойствия во время самого жаркого боя был достигнут экипажем корабля «Париж» в глазах Нахимова главным образом потому, что командовал кораблем человек безукоризненно исполнительный, точный во всех своих действиях и неизменно спокойный.

Таким знал адмирал Нахимов капитана Истомина в мирное время; после же Синопского боя он как бы сразу был принят им в свою семью — немногочисленную семью моряков, исключительных, достойных особого уважения.

Есть признание и признание. Люди, влюбленные в дело, которому служат, ценят только признание знатоков этого дела и, если оно получено, до самой смерти не выпускают знамени из рук, передавая его достойнейшему: так движется вперед лучшее, что создал и чем живет человек.

Признание Нахимовым и Корниловым выдающихся достоинств в молодом контр-адмирале отлило его в законченную форму, а смерть Корнилова, которого он издавна привык ставить себе в пример, потрясла его, как величайшее личное несчастье, и в то же время заставила презирать опасность.

Навсегда простясь в Морском госпитале со смертельно раненым Корниловым и благословленный его холодеющей рукой, он выбежал тогда из госпиталя рыдая, но рыдал он в последний раз. Он мчался потом на свой Малахов курган с огромной ненавистью к смерти и с острым презрением к ней. До конца бомбардировки он появлялся в

самых опасных по обстрелу местах, но смерть в этот день обошла его. Позже, когда при других бомбардировках он точно так же держался вызывающе к реющей кругом него смерти и окружавшие пытались убедить его уйти в блиндаж, он говорил обычно:

— Еще с пятого октября выписал я себя в расход и живу только за счет плохой стрельбы англичан и французов.

Что Малахов курган — ключ севастопольских укреплений, знали, конечно, защитники Севастополя, и только интервентам не удалось сразу этого понять. Назначенный начальником четвертой дистанции, в которую входил Малахов курган, Истомин получил под свою ответственность наиболее важный участок оборонительной линии; благодаря ему он сделался наиболее мощным.

Истомин был очень требователен к подчиненным, но еще требовательней к самому себе. Он был уже однажды контужен, потом легко ранен, но не покидал своего кургана. Жил он в каземате башни, от которой уцелел только нижний этаж, верхний же был сбит еще в первую бомбардировку.

Так же, как и Нахимов, не надевал он солдатской шинели сверх морского сюртука с эполетами. Шинель эта, равняя его со всеми окружающими, прятала бы его от прицельных выстрелов неприятельских стрелков, которые охотились на русских командиров; но прятаться за что-нибудь от смерти он считал недостойным, как недостойным считал и отдых. Бессменно стоял он на вахте с самого начала осады и спал, не раздеваясь, готовый вскочить по первой тревоге и отбиваться от штурмующих колонн.

В последнее время, к концу февраля, он почувствовал, что силы начинают изменять ему. Он поддерживал их мускусом, но не сходил с поста.

Он был холост, как и Нахимов, но имел весьма престарелую, уже восьмидесятилетнюю мать и двух сестер, живших в Петербурге; им он отсылал свое жалованье; им он писал несколько раз, что, в случае если будет убит, им следует обратиться к генерал-адмиралу великому князю Константину; и, может статься, что жалованье его — восемьсот шестьдесят рублей в год — «будет обращено в пожизненный им пенсион». Других советов, как им устроиться после его смерти, он

дать им не мог, никаких недвижимостей у него не было, больше завещать им было нечего, и с этой стороны он чувствовал себя спокойным.

II

Между тем ответственность его за Севастополь сильно возросла с тех пор, как на Малахов курган направил свою атаку корпус Боске. Истомин сделался как бы комендантом особой крепости, опиравшейся на Корабельную сторону. Два сильных бастиона входило в эту крепость: Корниловский и второй, три редута — Жерве, Волынский и Селенгинский — и, наконец, Камчатский люнет. Люнет огибал дугою пространство от каменоломни до Селенгинского редута и Волынского, и Истомин шутливо назвал все эти три новых сооружения «очками Малахова кургана».

Выброшенный на берег с корабля «Париж», молодой адмирал как бы получил команду над целой эскадрой, только лишенной способности маневрировать. Четвертое отделение стало обширнейшим военным хозяйством. Уже не два, не три полка пехоты, а около двух дивизий, занимали теперь, в начале марта, его блиндажи, казармы, землянки, палатки.

Правда, иные полки были обескровлены до того, что стоили по числу людей не больше двух батальонов, даже одного, но зато каждый солдат в них был почти то же, что матрос на палубе корабля: обстрелянные, обветренные, насквозь продымленные, втянувшиеся во всякую работу, переставшие замечать, какие пули пели кругом, brave по своей выправке в строю, надежные на случай штурма люди. Как-то он сам вздумал собрать для вылазки охотников от одного батальона Якутского полка. Отозвал всех офицеров батальона к себе и обратился к солдатам:

— Вот что, братцы! Требуется от вас семьдесят пять человек охотников на вылазку этой ночью. Ну-ка, охотники, выходи вперед!

Солдаты стояли не шевелясь, и все — глаза на него, на начальство, но никто не вышел. Озадаченный этим, Истомин поглядел было вопросительно на командира батальона, но тут же скомандовал жестко:

— Охотники, пять шагов вперед, марш!

И сразу весь батальон сдвинулся с места, подался, не ломая строя, на пять широких шагов вперед и стал, сильно стукнув каблук о каблук правой ногою.

Истомин подумал, что его не поняли, и прикрикнул:

— Только охотники, а не все!

Но ему ответило много голосов вразнобой:

— Все охотники! Так точно, все пойдем!.. Согласны!

Это показалось до того прекрасным ответом стоявшему недалеко волонтеру из юнкеров флота Вите Зарубину, что он прошептал: «Браво!» — и готов даже был захлопать в ладоши.

В эту вылазку под командой лейтенанта Астапова он потом просился и сам и был взят; тут в первый раз он и был ранен английским штыком, но рана оказалась легкая, и через неделю, покинув перевязочный пункт, Витя снова появился на бастионе.

III

Как тело, погруженное в воду, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная им вода, так Витя Зарубин сразу почувствовал себя и легче, и проще, и в чем-то вполне оправданным, когда в первый раз пришел на Малахов «волонтером из юнкеров».

Батальон якутцев, впоследствии он потому и понял так, что сам почувствовал бы себя оскорбленным, если бы вдруг выступили другие раньше его из общего строя и нашлось бы их семьдесят пять, а он почему-либо замешкался, не попал в их число, отстал и остался.

Изо дня в день на бастионе около него совершалось то самое настоящее, к чему так неудержимо стремятся все подростки, только что оторвавшиеся от детских игр: настоящие подвиги, настоящие опасности, настоящая смерть. При этом смерть не какая-то, трусливо подкрававшаяся неизвестно откуда, невидимая, непонятная, страшная и в то же время презренная, как ночной вор, а вполне явная, летящая из неприятельских батарей и ложементов, — встречная смерть: они посылают ее нам, а мы им...

Стояли в разных местах на бастионе сигнальщики-матросы и смотрели во время бомбардировки в небо. Они следили за полетом

неприятельских снарядов очень понаторевшими в этом ответственном деле глазами. И, как петухи кричат по-особому, едва завидят ястреба, так же кричали и сигнальщики:

— На-аша! Береги-ись!

Это «и-ись» было как свист в два пальца пронзительно, и, услышав его, кто бросался к закрытиям, кто падал на землю.

«Наша» была бомба, которая должна была вот сию секунду упасть среди нас и взорваться. Это была «наша» смерть, «наше» увечье... Она падала, крутилась, шипела, выбрасывала искры, наконец взрывалась, наполняя все вокруг удушливым дымом и осколками.

Не все могли расслышать сигнальщика в грохоте перестрелки, не все могли удачно укрыться от осколков... Обычно после разрыва бомбы валялось на земле два-три тела, и были стоны, и багровела кровь на рыжей грязи, и кричали уцелевшие:

— Эй! Носилки сюда! Давай носилки!

Если сигнальщики кричали: «Армейская!» — то это значило, что бомба упадет в расположении того или другого полка из дежуривших на бастионе, а если: «Пить пошла!» — значило, что перемахнет через всю Корабельную и утонет в бухте.

Шутливо относились к этой зримой смерти, посылавшейся оттуда, от «него» — неприятеля; говорили: «Земляк гостинца прислал!» Страшную пятипудовую бомбу, которая во время полета обволакивалась полотнищем искр из своей трубки, особенно заметных и ярких ночью, называли «гривастым жеребцом», «лохматкой», «мохлаткой»... Певучие пули английских штуцеров называли «лебедушками».

Так естественна и понятна была смерть здесь, на бастионе, что Вите Зарубину уже через месяц после того как он поступил волонтером, неестественным казалось, когда он слышал о смерти кого-нибудь в городе от болезни. Даже дико как-то звучало это: умер от чахотки! Как же можно было допустить себя умереть от какой-то чахотки, когда каждый день то бомбардировки, то вылазки?

Во время вылазки, в которой участвовал Витя, у него в руках было солдатское ружье со штыком. Лейтенант Астапов, правда, пытался держать его все время около себя, однако не удержал. Когда и как

Витя ворвался тогда вместе с бежавшими вперед и орущими «ура» матросами в английскую траншею, об этом ясного представления у него не осталось, но он помнил, что тоже кричал на бегу, очень крепко держа ружье наперевес, а после пробовал пальцами свой штык, когда отступали, — вдруг сухой! И с гордостью долго вспоминал потом, что штык был в крови.

Предметом гордости был для него и крест из чугунных ядер, сложенный на том самом месте, где был смертельно ранен Корнилов. Когда ему случалось проходить мимо этого креста, он шел как мимо бастионной святыни, — глаза на крест и руки по швам.

Очень скоро постиг он весь, довольно несложный, впрочем, обиход жизни на Малаховом, и мало того, что постиг, — все принял и все одобрил, потому что все сложилось там за несколько месяцев осады строго целесообразно: он ничего не мог бы изменить к лучшему, так как видел, каких огромных усилий тысяч людей в серых шинелях и матросских бушлатах стоило то, что называлось Корниловским бастионом. Разбиваемое усиленной бомбардировкой противника, оно возникало вновь на следующее утро: лежали грудami, как и прежде, новые земляные мешки на бруствере; вместо подбитых орудий стояли новые, того же калибра и на новых платформах; над пороховыми погребами высились заново насыпанные и утопанные земляные крыши... Чего-нибудь изменять в общем строе бастиона не приходилось, — можно было только восстанавливать испорченное чужими снарядами.

В матросах и солдатах вокруг себя на кургане Витя видел не героизм момента, не героизм часа, двух, трех часов подряд, какое, например, видел его отец во время Синопского боя, а то отстоявшееся героизм повседневности, которое перестало уже всем казаться чем-нибудь особенным, а стало необходимым по своей целесообразности.

Если закатилась, например, бомба небольших размеров в блиндаж через двери, и вертится, и шипит, готовая взорваться и убить и искалечить осколками несколько человек, то, конечно, должен же кто-нибудь броситься к ней, схватить ее руками и выбросить вон из блиндажа, — как же иначе? Это, конечно, героический поступок, но подобных поступков было много, к ним привыкли, они никого уже не

удивляли, — они были просто необходимы, так же как борщ и каша. Был, кстати, и такой случай, что ядро, подпрыгивая, катилось по земле и шлепнулось в объемистый ротный котел каши. Посмеялись, что французская «чугунка» приплелась пробовать русскую кашу — «не иначе — голодная, стерва!» — но не выкидывать же было ради этого целый котел... Выкинули ядро, а кашу все-таки съели.

Может быть, какой-нибудь москвич или петербуржец назвал бы героизмом и то, что отец и мать Вити продолжали жить в своем домике на Малой Офицерской, но Витя знал, что тут действовала простая сила привычки. Так же точно жили в городе и семьи многих матросов, и матроски часто приходили на бастион к своим мужьям, приносили им пирогов или оладьев, плакали исподтишка, сморкаясь в фартуки, когда рассказывали, то — как «разнесло снарядишком» их хату, то — как убило наповал их соседку, или мальчонку Петьку, или годовалую девочку Анютку; но, уходя, шли не торопясь, даже когда начиналась жаркая перестрелка и ядра гулко бухали в землю, обдавая их грязью. Другие такие же матроски продолжали спокойно торговать у горжи бастиона сбитнем и бубликами.

Витя жил в офицерском блиндаже; часто ставили его в ординарцы к Истомину, и он наблюдал все действия своего адмирала тем изучающим, поглощающим взглядом, который присущ только зеленой юности.

Почти безбровое, но всегда строгое на вид, светлоглазое, с очень белым, блестящим, широким, чуть лысеющим лбом и пепельно-русыми небольшими усами лицо Истомина казалось гораздо моложе, чем могло бы быть в его сорок пять лет. По сравнению с лицами других офицеров на кургане это лицо можно бы было назвать даже холеным, но Витя знал, как «холил» себя Истомин.

Витя помнил и то, какой спор поднялся однажды, еще до осады Севастополя, в их среде юнкеров, — мичманом или лейтенантом участвовал Истомин в знаменитом Наваринском бою, и уж не забывал с тех пор, что — гардемарин, что было ему тогда всего семнадцать лет, что за этот бой получил он и Георгия и чин мичмана. И вот через двадцать восемь лет на этого бывшего наваринского гардемарина — контр-адмирала Истомина — смотрит вся Россия, как на виднейшего

защитника ее чести и ее границ... Было почему смотреть на него во все глаза и кидаться со всех ног исполнять его приказания.

Иногда удавалось Вите побывать дома. Тогда он, совершенно не отдавая себе в этом отчета, держался хозяином здесь, где ковылял, сердито стуча непослушной палкой, его отец и где по-прежнему самозабвенно хлопотала мать. Даже к сестренке Оле, которая с криком радости бросалась ему на шею, чуть только он входил, начал относиться он вполне покровительственно, точно был уже командир батареи по крайней мере, не меньше.

Правда, он очень возмужал за три месяца жизни на бастионе: недаром они ему и в послужном списке считались за три года.

Как-то в начале марта он нашел тоже время и возможность забежать домой, так как был послан с поручениями в город.

День стоял по-весеннему теплый. Солдатская шинель его была расстегнута на все крючки. От быстрой ходьбы ему было жарко. Подходя к дому, он думал только о холодной воде из колодца и едва заметил разбитое в одном окне стекло; заметил же потому, что сильно сверкали острые, длинные, как кинжалы, осколки на фоне знакомого с детства, черного с золотыми буквами альбомного переплета, прибитого изнутри к раме.

— А у нас Варечка! — сказала ему негромко Оля, кинувшись, как всегда, навстречу и обвивая тонкими милыми ручонками шею.

Целуя ее, он отозвался с виду равнодушно:

— Вот как удачно я, значит, пришел: все будем в сборе!

Но он был рад посмотреть на сестру после ее болезни, от которой, слышал, многие умирают, даже из матросов и солдат.

На голове Вари была полосатая желто-белая косыночка, завязанная в узел под заострившимся подбородком. Все лицо ее заострилось от худобы и стало желтым, птичьим. Витя припоминал, глядя на нее, на какую же именно птицу она похожа теперь, и, довольно улыбнувшись, сказал:

— Знаешь, Варечка, ты теперь очень стала похожа на иволгу!

А заметив недоумение в ее потускневших больших глазах, добавил:

— Это самая-самая моя любимая птица — иволга! И как поет, просто прелесть!

Кстати, и кофточка Вари была светло-канареечного цвета с чуть заметными, слинявшими голубенькими цветочками: это еще больше увеличивало сходство сестры с иволгой в глазах Вити. Но Варя не слыхала никогда о такой птице, улыбнулась на шутку брата она очень сдержанно и, разглядывая его пристально, сказала с оттенком зависти:

— А ты уж успел загореть как!.. И весь так и пышешь, и пышешь!

Действительно, Витя казался здесь, в низковатой комнате, очень ярок. Служба на бастионе не слишком утомляла его, а молодой сон его в блиндаже был крепок даже и под сильнейшим обстрелом. Впрочем, он крепок был и у всех его товарищей: все быстро привыкли к ежедневной пальбе и могли проснуться скорее от шепота на ухо, чем от залпов из своих осадных орудий, заставлявших дрожать даже землю на целую версту кругом.

В отце Витя подметил еще раньше, что он вообще за время осады, за эти шесть месяцев, постарел на шесть лет: явно блее и суше как-то стала голова, резче выпятился нос — признак того, что опали щеки; чаще и крупнее стал он дергаться; однако бодрился, старался подбадривать и других; напротив, насупливал брови, хмыкал, сопел и припечатывал палкою пол, как и в первые дни, когда приходилось ему вновь слышать рассуждения маловеров, что Севастополь-то, пожалуй, едва ли отобьется от вцепившихся в него зубастых врагов.

Всегда, как приходил Витя, расспрашивал он его очень подробно обо всем, что делалось у них там, на Малаховом.

Крепостная служба, правда, была ему мало знакома, но зато знал он всех флотских на бастионах, особенно офицеров старших чинов, и, наконец, где же еще, как не там, на укреплениях, около своих батарей стояли и погибали

матросы?

Теперь был такой час, когда вся семья сидела за чаем (хотя Витя с приходу не утерпел и выпил холодной колодезной воды целую кружку), и мать, как обычно, расположилась около самовара. Она мало изменилась на взгляд Вити. Пожалуй, даже выражение ее круглого добротного лица стало теперь не то чтобы успокоенным, а притерпевшимся, — перетерпевшим и то, что ранили сына, и то, что

заболела тифом дочь... Вот поправился и опять глядит молодцом сын; выздоровела и, бог даст, станет прежней крепышкой дочь, — ну, а там, дальше... Сквозило, конечно, кое-какое беспокойство за будущее, но что же делать: не они одни остались в Севастополе, порядочно и других тоже... Может быть, как-нибудь впереди станет и лучше.

Это читалось Витей в лице матери, когда рассказывал он за столом, обращаясь не к ней, а к отцу, о последней новости на четвертом отделении — о Камчатском люнете.

IV

— Конечно, теперь все стали умные и все в один голос: «Если бы раньше так сделали!» Однако же вот не сделали-с. А почему же не делали? Ну, да просто потому, что никто ведь и не думал, чтобы на Севастополь кто-нибудь осмелился напасть, — говорил с увлечением Витя. — А если б об этом подумали, когда надо было, то и войны никакой бы у нас тут не было... Вообще всякие эти «если бы» да «кабы»... Чепуха все! Ну, не надо было — не делали, а понадобилось, вот тебе и есть, — и пусть-ка теперь французики попрыгают около Малахова, когда у нас впереди целых три редута! Прыгать уж начали, конечно, заегозили... Второго числа ночью, слышали, бомбардировка какая была? Это они все по Камчатке садили.

— И что же?... Что же?... Как? — беспокойно спрашивал отец.

— Ничего, стоит себе Камчатка, как миленькая, — залихватски качнул головою кверху Витя. — У нас считают, что не меньше, как две тысячи снарядов они выпустили.

— Две тысячи?

— Да-а, не очень много, конечно, однако порядочно... А Камчатка сама даже и не отбивалась, — там еще и орудий не успели поставить... Только вчера амбразуры прорезали для двух батарей. Наши матросы за них за всех отстреливались. Конечно, с Волынского и Селенгинского редутов тоже пальба здоровая была, да ведь и там тоже моряки у орудий... У нас ведь везде после отката орудия так и командуют по-флотски: «Орудие к борту!»

— О-о!.. «Орудие к борту!» — повторил отец сияя.

— «Орудие к борту!..» А когда вызывают по тревоге из землянок, кричат: «На палубу!»

— «На палубу!..» А-а!

— Разве я тебе не говорил этого раньше?.. Дежурных у нас никаких не знают, как в пехоте, — у нас «вахтенные». А если раненый солдат заведет голос, его сейчас же матрос оборвет: «Чего завел волюнку? Чтобы француз тебя такого услышал да подумал бы, что бабы у нас на бастионе? Ты лежи себе да молчи, пока на перевязочный не доставили. А там уж ори себе на здоровье, — там теперь есть кому тебя слушать: милосердные сестрицы этими делами занимаются!»

Сказав это, Витя перевел глаза на «иволгу», не обиделась ли, взял ее похудевшую руку, погладил нежно и добавил улыбаясь:

— Насчет сестриц милосердных это они, конечно, «шуткуют», а сами, — видал я на перевязочном, — готовы не пить, не есть, только бы к ним сестрица подошла... Один уж почти умирал совсем, — выше колена ногу ему Пирогов отпилил, да что-то неудачно: гангрена началась, — так вот он говорил: «Сестрица, вы хотя мимо меня пройдите только, вроде как вы бы на Приморском бульваре гуляете, а я бы, например, будто боны на якорь в бухте ставлю, а сам на вас дивлюся не в полный глаз...»

— Это какой же сестре он так говорил? — очень живо, как и не ожидал Витя, спросила Варя.

— Да не узнавал я фамилию, признаться... Она уж и немолодая, только очень ко всем раненым внимательная.

— Не здешняя? Из приезжих?

— Из приезжих... Из пироговских...

— А твою рану кто перевязывал?

— Ну-у, мою!.. У меня какая же там была рана — пустяки! — покраснел Витя. — Стал бы я тоже свою рану давать сестре перевязывать... Мою, конечно, фельдшер.

— А кто же, кто же там... командиром кто... на Камчатке? — с усилием спросил отец.

— Кто? Сенявин, капитан-лейтенант.

— Се-ня-вин!.. А-а!.. Это вот хорошо... очень, да... Сенявин!.. Это он...

природный моряк, как же-с... Он там будет... держать вот как — Сенявин!

И старый Зарубин сжал руку — всю из сухожилий, хрящей и синих вен — в трясучий кулак, стараясь наглядно показать сыну, как способен будет держать этот новый сухопутный корабль — «Камчатку» — потомок старого известного адмирала Сенявин.

При этом глаза отца, — отметил Витя, — блистали так же остро и ярко, как остатки стекол в окне, разбитом залетевшим осколком снаряда. Витя даже поглядел для проверки впечатления на это окно, а мать, заметив его движение, проговорила, жалуясь:

— В кабинете на стуле лежит сокровище-то это... Вот уж мы перепугались тогда, — это ведь ночью случилось!.. И далеко же от нас разорвалась, проклятая, — у Микрюкова в саду, — а к нам вот долетело... Ведь если бы кто из нас стоял тогда около окна, — поминай как звали!.. Спасибо, мы уж все спать тогда легли.

Маленькая, синеокая, с беленьким вытянутым личиком, Оля пристально наблюдала, когда рассказывала это мать, за своим братом-солдатом — испугает ли это его хоть немного, но он только улыбался снисходительно, и это ее удивило.

— А там, на ба-сти-оне на твоём, тебе, скажешь, не страшно, а? Совсем не страшно? — спросила она, глядя на него в упор.

Витя притянул ее к себе, взял за плечи, потрепал выбившиеся из маленькой косички мягкие белые волосы и ответил к ее удовольствию:

— Нет, брат, каждый день бывает страшно.

— Ага!.. Вот видишь! — торжествовала Оля.

— Каждый день бывает страшно, — повторил Витя, — потому что каждый день повадился к нам на бастион приходить один пьяница, бывший кучер, с такою вот девчушкой маленькой, как ты... Приносит он к нам продавать франзоли, — целую корзину на солдатском ремне белом через плечо, а девчушка эта получает за него деньги и прячет к себе в мешочек, а иначе «тятка пропьет»... Конечно, мать ее франзоли эти печет, мужа своего пьяницу посылает их продавать, а девчушка с ним для контроля... Вот за нее-то мне всякий раз и бывает страшно: вдруг заденет ее осколок или пуля, много ли ей надо?

— А если... если заденет, ты будешь плакать? — очень тихо и очень

серьезно спросила Оля, и Витя ответил ей так же тихо и так же серьезно:

— Буду.

Капитолина Петровна, чуть только речь коснулась франзолей, осведомилась, почем они там, на бастионе, покупают франзоли, почем бублики, пирожки, оладьи и почем со штуки моют им там белье матроски с Корабельной. Она была в цепкой власти пугающего ее не менее бомбардировок крутого повышения цен на все в ежедневном домашнем обиходе. Отец же Вити жил больше мелочами боевой обстановки, примеряя их к воспоминаниям о своем прошлом, о сослуживцах-моряках, о командирах...

— Ну, а как там, а... Владимир Иванов как?.. Ничего, здоров, а? — спросил он об Истомине.

— Владимир Иванов наш как был, так и есть, — весело отозвался Витя. — Змей-горыныч о семи головах! Так его солдаты прозвали, не я... «И что это, говорят, за адмирал такой, чистый Змей-горыныч о семи головах! Где самый кипяток кипит, он туда и лезет!» Я понимаю, на корабле от снарядов не спрячешься, некуда прятаться, а ведь на бастионе вся земля вдоль-поперек изрыта: где траншея, где боскет, где целый блиндаж, — на каждом шагу есть прикрытие... А Владимир Иванов все думает, что он и в самом деле на палубе: станет с трубой на самом открытом месте и рассматривает, что у противника... Противник же тоже имеет трубы и подымает, конечно, пальбу. Около него уж нескольких адъютантов подстрелили, а он сам только один раз ранен был, только легко, вроде меня, да раз, говорят, контужен, тоже легко, с ног не свалился... Говорят, у всех французских офицеров амулеты какие-то есть необыкновенные, — может, и у нашего Истомина такой амулет? Только ведь чепуха же, должно быть, все эти амулеты.

— Иконка, должно быть, материнское благословение, — сказала Капитолина Петровна. — Вот и насчет «Трех святителей» говорят, почему он не тонул тогда: икону забыли снять явленную, он и стоял, а потом вспомнили, сняли — сразу пошел ко дну.

Старый Зарубин медленно повел головой, сомневаясь, но не решаясь отвергнуть этот слух, хотя сам он видел, как пароход «Громоносец»

расстреливал его корабль. Витя же счел возможным пошутить только над амулетами французов:

— Не знаю я, что такое за амулеты, — говорят, что и у Боске и у самого Канробера они есть, — только на Селенгинском редуте пришлось мне видеть в феврале человек пять убитых французских офицеров: плохо им помогли их амулеты. Может быть, что-нибудь носит и Владимир Иванович, а только мы все за него боимся, и я тоже.

— А если его убьют, ты плакать будешь? — спросила вдруг внимательно слушавшая Оля.

— Кого убьют? — удивился Витя. — Адмирала Истомина? Тебе-то какое до него дело? Ты ведь его не знаешь?

— Ну что же, что не знаю!.. А ты говори, будешь по нем плакать, если его убьют? — настойчиво повторила девочка, не отводя глаз.

— По Владимиру Ивановичу чтоб я не плакал?.. Не только плакать — рыдать по нем буду!

И Витя отвернул лицо к разбитому окну, чтобы скрыть, как совершенно произвольно замигали мелко веки его глаз, и голосом совсем глухим и бесцветным добавил:

— Это же душа Малахова кургана — Истомин... Никто не хочет у нас думать даже, чтобы его и ранить могли, а не то что...

Слово «убить» теперь уж не захотело слететь с его языка.

Отец был тоже в волнении и пристукивал в пол палкой молча, а мать, воспользовавшись этим молчанием, спросила:

— Ипполита Матвеевича не видал?

— Дебу? Где же я мог бы его видеть? А что, он еще не произведен? — безразлично спросил Витя.

— Да вот все ждет со дня на день... «Теперь, говорит, при новом императоре непременно должны произвести... Тогда уж, говорит, приобрету я все права человеческие, каких я пять лет назад лишился...» Вот уж кто беспокоился-то, когда Варя была больна!

— Мама! — покраснела вдруг Варя так, что и глаза ее стали розовыми.

— Ну, что «мама»! Что же ты в самом деле? Раз человек получит чин офицерский, то, значит, его и сам царь прощает, а ты уж к нему немилосерднее закона быть хочешь.

Витя понял, что до его прихода были какие-то сложные семейные

разговоры насчет Дебу, но вникать в них ему не хотелось, даже казалось совсем неудобным. Он сослался на то, что должен бежать на бастион, и поднялся. Прощаясь с Варей, он спросил ее:

— Ты что же теперь, как — опять на перевязочный сестрой?

— Разумеется! А как же иначе? — удивилась его вопросу Варя и почему-то слегка покраснела снова.

Желая показать, что он и не ожидал от сестры другого ответа, Витя заговорил снова о Малаховом:

— Три матроски у нас есть: воду на бастион снизу из колодца на коромыслах носят для солдат, для матросов, целый день они этим заняты. Их прежде четыре было, да одной штуцерная попала в грудь, прямо в сердце. Могли бы эти три о себе подумать, что и с ними может то же случиться, однако же ни одна не ушла, — как были, так и остались. Наш Истомин представил их к серебряным медалям за храбрость, — любопытно будет на них тогда посмотреть, как получат... А то у нас еще арестантов порядочно из тех, каких Корнилов покойный выпустил. У них только что головы бритые да тузы сзади на шинелях нашиты, а работают ничем не хуже других, особенно у орудий. Их ведь тоже нельзя даже и представлять к наградам, а Истомин при мне одному Георгия сам навесил, — так теперь этот арестант с крестом и ходит и уж волосы отпустил. А им, правду сказать, давно бы следовало всем тузы сзади спороть, а кресты спереди навесить...

V

Назначенный командиром порта и военным губернатором Севастополя, Нахимов выпустил 2/14 марта приказ, которым одинаково запрещалась как частая пальба из орудий, ввиду недостатка пороха и снарядов, так и излишняя отвага ввиду большой потери людей.

«Усилия, употребленные неприятелем против Севастополя, — писал Нахимов, — дают основательный повод думать, что, решившись продолжать осаду, враги наши рассчитывают на средства еще более громадные. Но теперь шестимесячные труды по укреплению Севастополя приходят к концу, средства наши почти утроились, и потому кто из нас усомнится в торжестве над дерзкими замыслами

неприятеля? Но разрушать их при большой потере с нашей стороны не есть еще полное торжество, и потому-то я считаю долгом напомнить всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы, при открытии огня с неприятельских батарей, не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число людей для неразлучных с боем работ были ограничены крайней необходимостью. Заботливый офицер всегда отыщет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности. Любопытство, свойственное отваге, одушевляющей гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными начальниками. Пусть каждый будет уверен в результате боя и спокойно останется на указанном ему месте; это в особенности относится к господам офицерам.

Я надеюсь, что господа дистанционные начальники и отдельные начальники войск обратят полное внимание на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах. При этом прошу внушить им, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству и что не удалство, а только истинная храбрость приносит пользу ему и честь тому, кто умеет отличить ее в своих поступках от первого...»

Этот приказ, отпечатанный в типографии главного штаба на Северной, лежал перед Истоминным на столе, когда к нему вошел генерал Хрулев. После неудачного дела под Евпаторией, которым Хрулев, с одной стороны, помог сойти в гроб Николаю, а с другой — очень угодил Меншикову, он был вызван в Севастополь, однако только Сакен, знавший его еще по Венгерской кампании, дал ему ответственный пост начальника всех войск на Корабельной стороне, а также на передовых позициях четвертой дистанции.

Узнав о своем назначении, Хрулев, в неизменной огромной черной папаше и лохматой кавказской бурке, обскакал на белом коне весь свой участок, сделал визит Истомину, причем оба они в первый раз тогда увидели друг друга, и выбрал себе на Корабельной для штаб-квартиры небольшой двухэтажный домик, пока еще уцелевший от ядер и бомб.

Это было 4-го, а в ночь с 5-го на 6-е ему пришлось уже выдержать нападение на Камчатский люнет... Нападение было отбито, как и два предыдущих, но, проведя на Камчатке всю ночь, Хрулев пришел к мысли о большой вылазке, которая могла бы при удаче надолго отбить у французов охоту к еженощным почти атакам. Этой-то мыслью он и пришел поделиться с Истоминным.

Верхняя половина башни на Малаховом была сбита еще 5 октября, но нижняя уцелела, и совершенно безопасен даже от пятипудовых снарядов оказался каземат башни, часть которого отделил себе для жилья Истомин.

Воздух здесь очищался не только печкой с широкой железной трубой: рядом с собою поместил Истомин своего адъютанта, несколько других офицеров и канцелярию, — поэтому постоянно отворялась наружу тяжелая, окованная толстым железом дверь, так как большое хозяйство требовало и больших забот, и в каземат то и дело являлись и из него выходили люди.

Простая, но с чистым бельем кровать, широкий диван темно-зеленой кожи, несколько массивных стульев около большого овального стола, свечи в ярко начищенных медных шандалах, бронзовые накоминные часы, шкаф красного дерева — все это создавало некоторый уют среди развороченной кругом башни глинисто-белой вязкой земли, успевшей уже впитать в себя столько пролитой крови.

Печь топилась, потрескивая, и постреливая, и кидая на желтый вытертый полосатый ковер на полу красные блики, но стоял все-таки тяжелый запах подвальной сырости, смешанный с застарелыми запахами трубок, красного вина, сыра и других острых закусок и мускуса.

Предложив гостю трубку и приказав подать вина, Истомин заговорил первый, поглаживая тонкими пальцами нахимовский приказ:

— Не правда ли, большой чудак наш Павел Степаныч? Вот что значило сделаться ему командиром порта! С первого же дня усвоил всю житейскую мудрость Станюковича. А ведь как раньше сам разносил старика за скупость!.. Мне же лично и говорил: «Вы представьте-с только, что это за Гарпагон-с{74}. Нужны бревна мост наладить через Черную, а он без бумажки не дает-с! Да ведь это он государственное

преступление делает-с!» Совершенно верно, — это и было настоящее преступление, и не опоздай мы тогда благодаря Станюковичу с наводкой моста, мы бы Инкерманское сражение вполне могли выиграть. А то один старец бревен пожалел, а другой — я разумею князя — очень уж скрытничать вздумал, и в общем погибло несколько тысяч людей зря.

Заметив, что Хрулев, завесившись табачным дымом, вопросительно поднял брови, Истомин продолжал:

— Я говорю не о снарядах, конечно: если мало у нас пороху, то в отношении к снарядам скупость необходима, но вот первая половина приказа мне что-то не нравится, не знаю, как вам, Степан Александрыч.

— Скупость насчет людей? — понял, наконец, Хрулев. — Есть, есть по этому поводу где-то в баснях Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться!» Уж кто себя больше не бережет, чем сам-то Павел Степаныч? А кто для него должен подобный приказ писать: я или вы?

И глаза Хрулева несколько игриво спрятались не только в облака дыма, но и в набрякшие толстые веки, а на женственно-белом с синими тенями лице Истомина мелькнула улыбка, когда он отозвался на это:

— Павел Степаныч — фаталист. Он верит, что судьба наша написана на небесах, и баста. Теперь он постится, хотя и матросам и солдатам мы варим скоромное. Святейший синод разрешил всем, но он сомневается и постится... И до пасхи будет поститься, я его, конечно, знаю.

— На небесах или в преисподней, а где-то все-таки написана наша судьба, — серьезно сказал Хрулев. — Слыхали про майора Кувшинского? Целый месяц провел человек на своем пятом бастионе под обстрелом: ни одной царапины! Получил отдых, пошел спать на свою городскую квартиру, а там-то как раз его и прихлопнуло во время сна! И дом был трехэтажный, и спал он в первом этаже, — нет: два верхних этажа снаряд пробил и не рвался, а в его спальню ввалился — тут и готово... В куски! Как это прикажете объяснить?

— Я не астролог ведь, в звезды не верю, Степан Александрыч! Как

объяснить! Я такого сверхъестественного значения человеку не придаю, а если мы с вами стреляем, то рассчитываем только на то, что кого-нибудь да убьем. Не в белый же свет, а в людей метим. Дело ведь и не в этом, это само собою, — а в том, что вдруг вот выходит такой приказ: «Чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека» и прочее... Годится ли это? Нет, при всем моем уважении к Павлу Степанычу должен сказать: «Не годится!» В конце концов ведь прятаться и беречь себя всеми способами всякий умеет, а тут вдруг приказ... весьма рассудительный, однако довольно двусмысленный. Также и насчет разницы между «удальством» и «храбростью»... Тоже что-то очень уж тонко и для наших редутов не подходит. Что такое «удальство» и что такое «храбрость»? Кабинетно очень придумано!

— «Удальство» и «храбрость»?.. Да-а, я, когда сам читал этот приказ, подумал, что надо бы разъяснить это молодым офицерам, да некогда их собрать...

Хрулев отвел в сторону трубку и отмахнул рукою дым как бы затем, чтобы яснее разглядеть разницу между удальством и храбростью, потом продолжал шумовато, как он говорил всегда:

— Помню я, как под Силистрией вел себя наш общий с полковником Тотлебенем учитель, инженер-генерал Шильдер. Ему уже под семьдесят тогда было, но ведь вот же не хотел беречься, а сам, точно какой-нибудь прапорщик, лез на рожон. Ну, посудите сами, Владимир Иванович, нужно ли было ему, старику, полному генералу, самому подыматься на вал, усаживаться там со всеми удобствами и глядеть в трубу на турецкие траншеи? Полагаю, что совершенно лишнее это было, и так все кругом ему говорили. Но у него для всех был один готовый ответ: «Э-э, порет дичь неподобную! Ерунда!» Сидит там минуту, две, началась стрельба оттуда и явно по нем. Сидит!.. Наконец, нашелся меткий стрелок, — пуля в ногу разбивает кость. Из-за чего же пострадали и он и все дело осады нашей, так как он ведь руководил осадой? Из-за упрямого удальства, хотя, повторяю, он был уже далеко не мальчишка. Ну, что же тут делать? Стащили его на перевязочный, лекаря смотрят: «Надо резать». — «Режьте, говорит, если надо». Отрезали. Однако он тут же: «Куда это понесли ногу мою?

Вы ее, смотрите, в землю не закапывайте, а как стемнеет, чтоб оттащили ее поближе к турецким траншеям и там бы бросили: пусть она им навоняет как следует!» Вот когда я припоминаю это, то тут, мне кажется, уж не удальство сказалось, а храбрость.

— И какая же польза отечеству от подобной «храбрости»? — удивился Истомин.

— Пользы, разумеется, никакой, да и Шильдеру это не помогло, — он скоро умер после операции, там же, под Силистрией, его и схоронили. Но ведь все-таки запомнилось почему-то это: я запомнил, другой запомнил, произвело кое-какое впечатление... На удальство же все-таки не совсем похоже, потому что ведь безвредно. Но вот я могу привести вам другой случай, — и это уж здесь, в Севастополе, было, на четвертом бастионе. Прапорщик Плескачев вздумал «показать штуку» своим товарищам, таким же зеленым. Ему, видите ли, мало было, что каждый день он на глазах у смерти, — ему понадобилось, чтобы смерть сама была у него на глазах. «Штука» его в том заключалась, чтобы вскарабкаться на вал и там усесться и закурить папиросу, а когда докурит до мундштука, — слезть. Влез на вал, и сел, и закурил — все честь честью. Товарищи его стоят во рву, а над ними пули свистят, какие из французских траншей в этого Плескачева летят. И что же вы думаете? Ведь успел докурить папиросу и уж спускался, когда пуля наконец-то его поймала, прошла под левую лопатку. Отправили в Гущин дом, а потом на Северную, на кладбище. Это — удальство, молодечество. Может быть, даже пари держал... А погиб ни за копейку.

— Я, конечно, прекрасно понимаю и сам, что такое просто удальство, а что — храбрость и как разграничивает их Павел Степаныч! Но меня смущает в этом приказе то, что ведь он сам по себе-то бесцелен, этот приказ, потому что неисполним. Запретить молодечество, удальство нельзя ведь; и, может быть, даже в той обстановке, в какую мы все попали, нельзя даже и трех дней прожить, не чувствуя себя удальцом. Беспредметное удальство всегда может перейти в храбрость, — ну, вот в эту самую, о которой говорит Павел Степаныч, — а уж из труса не сделаешь храбреца...

— А трус как заорет в ночном деле: «Братцы, обходят!» — тут и

храбрые могут показать тыл, — поддержал Хрулев.

— Вот именно! Я об этом и говорю... А если покажут тыл, то может погибнуть зря не один уже сумасбродный Плескачев, а сотня, две или гораздо больше Плескачевых и прочих. Да в конце-то концов, если уж на то пошло, я иначе себе и не представляю всей нашей защиты, как на четверть — земля, чугун и свинец, а на три четверти — живые человеческие тела... Эти живые тела приходят на бастионы оттуда, с Северной, а потом известный процент их отправляют обратно на Северную, или в госпиталь, или прямо на Братское, и ненужных смертей, по-моему, у нас не бывает: все они вполне законны и необходимы, даже и в рассказанном вами случае с этим Плескачевым. Может быть, просто загрустил человек и захотелось ему взбодриться.

— У нас тут французы теперь, кажется, никому не дадут грустить, — усмехнулся Хрулев. — Пленные во вчерашнем деле говорили, что генерал Боске держит против Камчатского люнета двенадцать тысяч в траншеях. Я думаю, что если мы их не отгоним, то люнет неминуемо станет ихним. Но для этого нам надо собрать тоже порядочно силы.

— Непременно... Непременно... Ну, вот видите, Степан Александрыч, — очень оживился Истомин, — вы, значит, хотите идти на крупные потери?

— Без потерь, конечно, не обойдется, но зато можно надеяться и на крупный результат тоже.

— Непременно! Все дело в живой стене, а не... В сторону французов только предполагаете вылазку?

— Большую вылазку против французов, а малую, предохранительную, придется пустить против англичан... чтобы и у них создалось впечатление, что мы не шутим.

— Ага! Для этой цели имейте в виду двух храбрецов: лейтенанта Бирюлева и капитана второго ранга Будищева, — оба с третьего бастиона. Они уже не раз бывали в подобных делах и всегда удачно. Я называл их храбрецами, но, может быть, они еще и удалцы вдобавок.

— И Истомин улыбнулся затяжной улыбкой, делавшей лицо его еще более моложавым и привлекательным.

Как раз в это время ударил в башню снаряд большого калибра; разрыв его там, вверху, отдался в каземате сильным гулом.

— Гм... однако! — качнул головой Хрулев. — Не опасаетесь, Владимир Иванович, что когда-нибудь пробьют они ваш накат?

— Лично за себя я вообще не опасаясь, — по-прежнему улыбнулся Истомин. — Я даже думаю, что мне незаслуженно везет, что бог меня милует не в меру моих молитв... Вот и вам ведь тоже везет, Степан Александрович!

— Мне? — Хрулев почему-то нахмурился и стал усиленно глядеть в пол. — Правда, много раз приходилось мне людей водить под пули, и бог хранил... Только не люблю я говорить об этом перед делом, Владимир Иванович... А вот вина выпью с большой охотой.

Вошел ординарец, волонтер из юнкеров флота, Зарубин, и очень отчетливо доложил Истомину, что «подпоручик ластового экипажа Дещинский просит позволения изложить устно свою жалобу».

— Где он? — недовольно спросил Истомин.

— Ожидает в канцелярии, ваше превосходительство, — четко и громко ответил Витя.

— Простите, Степан Александрович! Придется мне выйти к нему на минутку... Хотя едва ли, чтобы что-нибудь серьезное...

Истомин вышел, посвечивая густыми желтыми эполетами, а Хрулев, изучающе, как артиллерист, оглядывая потолок каземата, тянул медленными глотками рдевшее под огоньком свечи вино. Он имел вид отдыхающего и действительно отдыхал здесь после целого дня хлопот на новом для него обширном и очень ответственном участке обороны. Но Истомин не задержался: он вернулся быстро.

— Вот чудак! — сказал он несколько раздраженно. — Вы только представьте, с чем именно он пришел! Жалуется на то, что его товарища, имярек, произвели последним приказом из Петербурга в поручики, а его нет, хотя у него-де имеется старшинство в два месяца! Чудак или круглый дурак?.. Ну, не все ли ему равно, скажите, убьют ли его в чине подпоручика или поручика?

— Гм... Значит, он крепко надеется, что не убьют.

— А какое же он право имеет на это надеяться? — удивленно возразил Истомин. — Наше общее назначение здесь какое? Умереть, защищая Севастополь! А произойдет ли это с нами сегодня, или через месяц, и будем ли мы при этом подпоручики, или адмиралы с такими крестами

(он взялся за свой белый крест на шее), или простые рядовые матросы и солдаты, разве это не все равно, скажите?

Вместо Хрулева ответил на это новый снаряд, ударившийся в башню, наполнивший каземат гулом прежней силы. Хрулев же, снова встревоженно оглядев потолок и продолжая держать стакан под лохматыми усами, сказал:

— Если они будут настойчивы, то десятым, двадцатым снарядом пробить потолок вам все-таки могут, Владимир Иванович... Бестия наводчик их знает, куда целит!

— Еще бы не знал! Башня эта полгода у них на виду, — улыбнулся Истомин.

— Поэтому, кажется мне, вам бы надо, пожалуй, перейти в какой-нибудь блиндаж поближе к горже, а?

— Зачем именно? От смерти не спрячешься, — флегматично отозвался Истомин. — Да они сегодня долго стрелять по башне не будут: это они по привычке, а теперь у них новая забота — бельмо на глазу — Камчатка! Что-то они там сочинят, а это рабочие заделают, как заделывали сто раз, и все тут пойдет по-прежнему, пока не придет к концу... Тому или иному... тому или иному... За что и давайте с вами чокнемся.

И он протянул Хрулеву полный стакан, слегка дрожавший в его красивой белой руке, хотя ясные глаза его казались веселыми.

VI

Ночью, как и предполагал Истомин, снова была сильная пальба по Камчатке. Французы, руководимые энергичным Боске, задались, очевидно, целью не только мешать ночным работам на Зеленом Холме, но и разрушить, сровнять с землей все это скороспелое укрепление, которое не успело еще вооружиться достаточно сильно, чтобы вести поединок с их батареями.

Истомин был там в полночь. Туда везли орудия. Одно из этих орудий было подбито, чуть только его поставили. Когда вместо него подоспело новое, Истомин сам наблюдал за его установкой, хотя командир люнета Сенявин и упрасивал его не рисковать напрасно.

Думая над тем, как можно применить приказ Нахимова в ночные часы,

когда идут и должны идти совершенно необходимые саперные работы и в то же время открывается — и не может не открываться — канонада, он пришел к мысли отводить людей по траншее с более опасного участка на менее опасный. Это заметно уменьшило число потерь, хотя и замедлило работы.

Начальник большого участка линии обороны Истомин видел, что с началом теплых весенних дней союзные войска ожили, как стаи мух, и вот к ним, ожившим, обогревшимся на щедром крымском солнце, везли и везли на больших океанских пароходах, как «Гималай», и новые дальнобойные мортиры, и огромные запасы снарядов, и большие пополнения людьми. Об этом говорили дезертиры и пленные, но об этом писали также весьма откровенно, не считаясь ни с какими военными тайнами, корреспонденты английских газет.

Между тем он знал и то, какие древние пушки выволакивались из хранилища адмиралтейства и ставились на бастионы взамен подбитых, но прозорливое высшее начальство требовало, чтобы из этих музейных старух палили умеренно не только потому, что они были почти безвредны для атакующих, но и по недостатку пороха и снарядов, что стало обычным. Ближайший к Севастополю пороховой завод был в местечке Шостка, Черниговской губернии — в нескольких сотнях верст от Перекопа; снаряды шли из Луганска, тоже через Перекоп, но Луганск был довольно далеко от Севастополя.

И, однако, дела обстояли так, что защищать Севастополь было делом чести русского имени, хотя бы он и был схвачен железной хваткой.

Истомин нашел в себе и то хладнокровие среди опасностей, даже презрение к ним, и ту жажду деятельности во вред противнику, которые его отличали.

Он и теперь шел к Камчатскому люнету, как шел бы хозяин на свое поле, пережившее ночью грозу, град и ливень. Кроме того, с саперным капитаном Чернавским, который теперь ведал там работами вместо Сахарова, ему хотелось поговорить о новой траншее для резерва батальонного состава между исходящим углом Малахова и правым флангом люнета.

Лихие фурштаты умчали уже чем свет убитых этой ночью, сложив их тела, как поленницы дров, на свои зеленые фуры и еле накрыв их

заскорузлым и черным от крови брезентом; раненых же отнесли на Корабельную, на перевязочный, к профессору Гюббенету, и теперь на Камчатке все пришло в будничный вид, даже аванпостная перестрелка велась уже лениво.

Желтая, чуть заметная на фоне молодой тощенькой и низенькой травки линия французской параллели против Кривой Пятки, такую лаву чугуна извергавшая ночью из своих орудий, теперь не представляла ничего внушительного. Странно было слышать жаворонков вверху, в чистом синем небе, но они пели... они трепетали крылышками и заливались, потому что была ранняя весна, время их песен.

В первый раз именно в этот день — 7 марта — услышал их Истомин в этом году.

Когда капитан-лейтенант Сенявин встретил его рапортом о благополучии, он отозвался ему, добродушно улыбнувшись:

— И даже — о, верх благополучия! — жаворонки поют, чего же больше хотеть?

На молодом, но усталом лице Сенявина с черной пороховой копотью в ушах, ноздрях и на крыльях большого прямого носа мелькнуло было недоумение, но он поднял воспаленные глаза кверху, тоже улыбнулся и сказал:

— Да, жаворонки... А рано утром журавли летели, курлыкали...

— Вот видите — и журавли еще...

Истомин пошел вдоль укрепления, попутно спрашивая о потерях. Орудия в исправном виде стояли на починенных, а кое-где и не тронутых бомбардировкой платформах, и матами из корабельных канатов были завешаны амбразуры. Истомин знал, что маты эти стали плести по почину капитана 1-го ранга Зорина, ведавшего теперь первой дистанцией, как он четвертой. Это очень простое нововведение оказалось очень удачным, предохраняя артиллерийскую прислугу от пуль, и спасло много людей. Прежде ставили с этой целью деревянные щиты, но штуцерные пули пробивали их, как картонку, а в матах из канатов они застревали. Кроме того, щиты, раздробленные ядрами, калечили много людей своими обломками: этого не случалось с матами. Так мешковатый Зорин, решившийся в сентябре на совете у

Корнилова первым высказать мысль о затоплении судов, теперь показал, что он вполне освоился и с сухопутьем.

Истомин недолюбливал Зорина, но подумал о нем с невольным уважением; «Все-таки не глуп... Ведь вот же мне не пришло в голову насчет этих матов, а вещь получилась большой цены...»

Старый боцман с корабля «Париж» Аким Кравчук оказался здесь же, на Камчатке.

— А-а! Кравчук, здорово! — проходя, крикнул ему Истомин; и Кравчук, у которого к Георгию за Синоп прибавился еще крест за Севастополь, вытянувшись насколько мог при своей короткой, дюжей фигуре, гаркнул ошастливленно:

— Здравь жлай, ваш присходитьство!

В левой руке у него был крепко зажат кусок хлеба. Это была привилегия нижних чинов севастопольского гарнизона — печеный хлеб; солдаты на Инкермане получали хлебную порцию сухарями.

Артиллеристы-матросы, которым пришлось много поработать ночью, иные спали тут же, около своих орудий, за бруствером, иные ели копченку, курили трубки, а заступившие их места с рассвета ревностно дежурили, так как редкая стрельба все-таки велась.

Сменившиеся и спавшие здесь около орудий были, конечно, те самые лишние люди, о которых писал в своем приказе Нахимов, но Истомин знал, что бесполезно, пожалуй, гнать их отсюда в блиндажи, к тому же не вполне еще надежные, что у них повелось так с самого начала осады — и прочно держится по традиции — не отходить от своих орудий до полной смены всей своей части; они рыцарски соблюдали этот неписанный свой приказ, и трудно было так вот на ходу решить, что это такое: удалство или храбрость.

На своих местах стояли сигнальщики, иногда покрикивая: «Чужая!...», «Армейская!...», «На-ша, берегись!...» Особые дежурные, устроившись между мешков, наблюдали за действиями противника в трубы... Обычный распорядок редутной жизни привился уже и на Камчатке.

Саперный капитан Чернавский, прошедший беспокойную ночь вместе с Сенявиным, пока тоже не уходил спать и так же, как Сенявин, казался усталым, но бодрым, а небольшое и подвижное лицо его было так прихотливо и щедро разрисовано и копотью и пылью, что стало совсем

обезьяньим.

О произведенных им ночью работах он докладывал обстоятельно и с выбором точных выражений, так что Истомин, слушая его, досадливо думал, что он несколько излишне увлекается мелочами, однако не перебивал, иногда даже сам задавал вопросы.

Они шли вдвоем, и Истомин сознательно направлялся именно к тому месту, где он думал удобнее всего соорудить траншею для резерва на случай штурма, чтобы иметь батальон и в относительной безопасности и всегда под руками...

Но если дежурили матросы с подозрными трубами на Камчатке, то наблюдали за Камчаткой в такие же трубы и оттуда, со стороны французов, и человек в ярко блестящих на весеннем солнце густых адмиральских эполетах, шедший в середине между двумя другими офицерами по открытому пространству внутри люнета, был замечен.

Первое ядро пролетело довольно низко над головами всех трех, повизгивая.

— Ого! — сказал Чернавский. — Это по нас!

— Прямой наводкой! — крикнул Сенявин. — Ваше превосходительство, прячьтесь в траншею!

Они шли как раз вдоль траншеи, которую уже начали копать ночью, но не там, где облюбовал место Истомин, а гораздо ближе к переднему фасу люнета. Ему это казалось лишним: передний фас и без того был хорошо защищен валом и рвом, между тем как правый был открыт, а французы всегда при штурмах прибегали к обходам с флангов.

Адмирал посмотрел на капитан-лейтенанта с недоумением: ему, Истомину, этот молодчик, только что поступивший под его команду, дает уже совет прятаться в траншею! Плохо же он знает своего начальника!

Очень насмешливы были истоминские глаза, когда он поглядел на Сенявина, сказавши:

— От ядра, батюшка, не спрячешься!

При этом он повернул лицо в сторону французских батарей, и то страшное, что произошло дальше, было делом всего только одной секунды. Ядро среднего калибра, пущенное также прямой наводкой вслед за первым, встретило на своем пути именно это белое, нервное,

ясноглазое лицо Истомина, и в тот же момент упал наземь Сенявин, контуженный в голову костями черепа Истомина, а Чернавский, ослепленный белыми клочьями истоминского мозга, плеснувшего ему в лицо, отшатнулся и тоже не удержался на ногах...

От Георгия 3-й степени остался на шее Истомина только обрывок ленты.

Когда обезглавленное тело бессменного в течение полугода командира Малахова кургана подносили на носилках к башне, Витя Зарубин беспечно смотрел на отдыхавших солдат, игравших поблизости в «носы». Это была любимая игра всех солдат. От шлепанья по носам, умеренным, маленьким и большим, распухали не столько носы, сколько карты, и Витя удивлялся, как игроки различали в них масти и фигуры, до того они были засалены и черны.

Солдаты хохотали, Витя улыбался их веселью, но вдруг остановились невдалеке люди с носилками...

Витя не спрашивал, кого принесли: для него достаточно было только взглянуть на забрызганный кровью серебряный адмиральский эполет... над эполетом же торчал только почерневший остов шеи: головы не было...

Витя вскрикнул, закрыл руками лицо, и спина и плечи его сразу крупно задрожали от рыданий...

VII

На другой день торжественно хоронили останки того, кто был душой Малахова кургана. Тот склеп, в котором лежали тела адмиралов Лазарева и Корнилова, был тесен: он мог вместить только три могилы. Третью Нахимов оставил за собою еще тогда, в скорбный день похорон Корнилова.

Но вот Истомин предупредил его на пути смерти... Где же было хоронить Истомина?

— Эти прыткие молодые люди... они... да-с, да-с... они очень спешат, спешат-с... — бормотал Нахимов, вытирая слезы платком в стороне от тела, обезглавленного на гильотине войны.

Даже как-то совершенно против правил дисциплины, не только против ожиданий это вышло. Истомин был не только моложе его годами чуть

не на десять лет, не только гораздо моложе чином, но за ним не числилось и никакого самостоятельного и яркого подвига, как, например, хотя бы за Корниловым. Этот последний, руководя боем колесного парохода «Владимир» с равносильным турецким пароходом «Перваз-Бахры», что значит «Морской вьюн», победил его в единоборстве, взял на буксир и притащил в Севастополь, как Ахилл приволок в стан греков труп побежденного им Гектора, прикрутив его за лодыжки к своей боевой колеснице...

В склепе было только три места.

Лазарев, Корнилов, Нахимов — этот триумвират был бы бесспорно триумвиратом равноценных в глазах всего флота, в глазах народа, в глазах истории, — так при всей своей скромности привык уже думать сам Нахимов. Но как же быть теперь с этим пылким молодым адмиралом, погибшим на своем трудном и почетном посту стража Севастополя?

Чувство собственника на почетную могилу в склепе оказалось в Нахимове гораздо сильнее, чем чувство собственника в отношении разных житейских благ, начиная с денег, которые обыкновенно он раздавал до копейки, еле дотягивая месяц перед получкою огромного жалованья. Лазаревский склеп был как бы пантеоном в его глазах, и, однако же, явно было, что четвертая могила там не могла поместиться. Часы очень острой внутренней борьбы переживал Нахимов; наконец, он решился и, отправившись к Сакену, как временно командующему Крымской армией, просил у него дозволения похоронить молодого адмирала, достойнейшего защитника Севастополя, на своем, нахимовском, месте.

После похорон он вспомнил, что на свете было существо, которому не безразлично, кто погребен вместе с Лазаревым: это была вдова Лазарева, жившая в Николаеве. И он, так ненавидящий всякую письменность, написал ей письмо:

«Екатерина Тимофеевна! Священная для всякого русского могила нашего бессмертного учителя приняла прах еще одного из любимейших его воспитанников. Лучшая надежда, о которой я со дня смерти адмирала мечтал, — последнее место в склепе подле драгоценного мне гроба я уступил Владимиру Ивановичу Истомину!

Нежная, отеческая привязанность к нему покойного адмирала, дружба и доверенность Владимира Алексеевича (Корнилова) и, наконец, поведение его, достойное нашего наставника и руководителя, решили меня на эту жертву. Впрочем, надежда меня не покидает принадлежать к этой возвышенной, благородной семье; друзья-сослуживцы, в случае моей смерти, конечно, не откажутся положить меня в могилу, которую расположение их найдет средство сблизить с останками образователя нашего сословия. Вам известны подробности смерти Владимира Ивановича, и потому я не буду повторять их. Твердость характера в самых тяжких обстоятельствах, святое исполнение долга и неусыпная заботливость о подчиненных снискали ему общее уважение и непритворную скорбь о его смерти. Свято выполнив завет, он оправдал доверие Михаила Петровича...»

Торжественное введение Истомина в пантеон русской славы закончилось к семи часам вечера 8 марта, а через час после того и Нахимов, как начальник гарнизона и командир порта, и Сакен, как заместитель главнокомандующего, получили донесение, что на Северную сторону уже прибыл и желает их видеть новый распорядитель судеб Севастополя и Крыма князь Горчаков.

Так гибель Истомина стала на рубеже двух периодов обороны: ею закончился меншиковский, после нее начался горчаковский.

Разницу между собой и Меншиковым новый главнокомандующий подчеркнул сейчас же, как прибыл. Он спросил Сакена и Нахимова, где их квартиры и штабы, и, узнав, что в городе, на Екатерининской улице, оскорбленно вскричал:

— Ну, вот видите! В городе, в приличных, конечно, домах!.. А для меня и для моего штаба вы приготовили какую-то молдаванскую хибару!

— Это инженерный домик, — ответили ему, — в нем помещались до своего отъезда их высочества, великие князья.

— Вы слышите? — обратился желчно Горчаков к своему начальнику штаба, генералу Коцебу. — Меншиков заставил их высочества жить в этом убежище!.. А где же помещался он сам?

— По Сухой балке, здесь же поблизости, в матросской хатенке, ваше сиятельство.

— Во-от ка-ак! — Горчаков в недоумении обвел всех кругом подслеповатыми глазами, вооруженными сильными стеклами очков, и заключил трагически: — Ну, теперь уж я вижу ясно, какое я получил наследство!

Глава третья. Хлапонинка

I

Воспоминания раннего детства очень редко посещают нас, и если они возникают на поверхности нашего сознания, то держатся недолго. Они робки, их пугает сложная взрослая действительность; они исчезают поспешно под напором ее, как тени утра под натиском ярких солнечных лучей.

Если же они овладевают нами так неотступно, что требуют воспроизведения в связном рассказе, то это вернейший признак нашей старости, неспособной уже к новым восприятиям жизни; а если случается с нами подобное в молодости, — признак болезни, временно отбросившей нас от повседневности.

Предчувствие смерти нередко тянет нас властно к тем местам, в которых протекло наше детство: погляди в последний раз, сомкни конец с началом в неразрывный круг и простись навсегда с теплой зеленой планетой, называемой Землею.

Воспоминания детства, приходящие к нам во время болезни, бывают радостны для нас и нас возрождают. Так тяжело контуженный в голову штабс-капитан Хлапонин, получивший в виде рецепта от Пирогова поездку в родные места, жадно припал к родникам своего детства, испытав на себе с первого же дня их целебность.

К концу января он не только восстановил в памяти наиболее яркие картины детства, став таким образом снова на прочный якорь, он вошел даже в круг понятий, мгновенно вышибленных из его мозга там, на третьем бастионе, в начале октября.

Он не совсем связно говорил еще, иногда запинаясь и шевелил пальцами, подыскивая нужные слова, но все-таки находил их. Он не мог еще вести длительной беседы, но мог уже осмысленно отвечать на

вопросы; он не мог еще доказывать, зато умел уже утверждать, и, что радовало Елизавету Михайловну больше всего, он начал как-то незаметно для самого себя владеть хотя и неуверенно еще левой рукой и ходить по комнатам без помощи палки.

Между тем прошла только половина срока, в который он мог бы, по предсказанию Пирогова, совершенно поправиться, и у Елизаветы Михайловны теперь уже не возникало сомнений в том, что так именно и будет через шесть недель; ради таких блистательных результатов она решила не бросать Хлапонинку для Москвы и, насколько хватит сил, терпеть Хлапонина-дядю, который точно задался целью испытывать ее терпение, хотя был только самим собою.

Однажды вечером, когда Дмитрий Дмитриевич рано ушел из столовой спать, Василий Матвеевич удержал ее за столом под предлогом каких-то деловых разговоров. Зная его скупость, она думала, что он скажет ей что-нибудь насчет платы с них за проживание в Хлапонинке, — от него можно было ожидать даже и этого, — однако разговор завязался другой: он начал вдруг жаловаться на свою одинокую жизнь, которая «подвигается уже к старости».

— К старости, дорогая Елизавета Михайловна, да-а, к старости!.. Я во всякие эти там самообманы, как говорится, не вдаюсь, нет. Думаешь-думаешь, вот тут сидя, на этом месте, в одиночестве полном, — зимою, как вот теперь, особенно: зачем ты живешь на земле? Зачем бременишь ее, матушку?.. И выходит даже как-то страшновато иногда, — я вам вполне серьезно говорю, как священнику на духу, — страшно!.. Сидишь один, а часы вот эти тикают. Смотришь на них — тик-тик, ан уж и секунда, а еще тик-тик — целых две... А там минута уж набежала, а там десять, двадцать и... батюшки мои, целый час! А потом и другой час... и третий... А ты сидишь себе за чаем один... А? Один, — ведь это что! Ведь это же как все равно в Петропавловской какой-нибудь крепости преступники политические сидят, мне говорили, одиночествуют в заключении. Однако же им есть за что, — они политикой занимались, а я-то за что же наказан так беспощадно? Я никакой вот политикой ни-ни, никогда в жизни, и даже книг запрещенных никогда не любопытствовал видеть, ну их совсем!.. Я своему государю верный раб по гроб жизни и никаких рассуждений

при себе о нем не позволяю. За что же я осужден!.. Ведь маятник тикает, дорогая Елизавета Михайловна, и время идет. Куда же оно идет? К старости, только к старости, больше некуда-с!

Она смотрела на него с недоумением: о какой еще старости в будущем он говорит? В ее глазах он и теперь был старик. От выпитого за ужином вина на лице его появилась обычная у него в таких случаях старикинская бугристая багровость, «боковой заем» его — зачес на лысину — растрепался, и плешь предательски поблескивала, как у генерала Кирьякова; набрякшие глаза слезились, но глядели на нее умильно-пристально.

Она улыбнулась и сказала:

— Что же вы свою родовую вотчину за Петропавловку принимаете? Кто вам запрещает жениться, например, чтобы не быть одиноким?

— Благой совет! — так и подпрыгнул он на стуле, как будто услышал что-то необычайное. — Вот видите, что значит — один ум хорошо, а два еще лучше! Благой совет!.. Но возникает вопрос: на ком жениться? Может быть, вы мне уж и невесту укажете?

— Вам, кажется, лучше знать невест тут около вас, а мне откуда же?

— Около меня тут! — подхватил он и даже развел руками, точно был изумлен. — Вот видите, как вы попали в точку! Около меня тут, это и была мечта моей жизни. Чтобы под межу, под межу непременно! — пригреб он к себе воздух. — Это и была моя цель, однако же не достиг!.. Вот луга на Лопани косить летом буду я, а не Таборские, — луга я у них окончательно отобрал, — сказал он победоносно, чего не говорил раньше. — Но что касается невесты, у них там нет невесты, даже и засиделой... У Говорухи нет, у Титаренки нет, да с ними обоими я в ссоре... были процессы, — я выиграл... У Перекрестовых? С ними, правда, мне тоже пришлось судиться, но это еще и так и сяк... Считается, что у них будто бы невеста на выданье, да ведь она чистая дурища, представьте себе, куда же ее взять? На посмешище людям? И она шепелявит... и, кажется, даже из ушей у нее течет... Бррр!.. А я, я, я?.. — Тут он выпрямился и даже выпятил грудь насколько мог. — Я еще вполне в своей мужской силе, здоров, умен, и гнездо свое свить еще вполне я в состоянии, и совью! И чтобы в этом вот самом доме детишки мои бегали и кричали, — вот чего я хочу! Вы, кажется,

думали, что я тишину люблю? Нет-с! Совсем напротив, ненавижу я тишину! А люблю я, чтоб топали около меня ножонки детские, и чтобы крик был, и чтобы ссоры из-за игрушек, из-за конфет, из-за чего угодно, только чтобы крик и ссоры! Вот это жизнь! А без ссор какая такая жизнь? Прозябание, как у зерна в земле... Удивляюсь я, вы меня извините за нескромность, почему это у вас с Митей деток нет? — очень понизил он голос.

Елизавета Михайловна ответила спокойно:

— Очень хорошо это вышло, я думаю, что мы пока не обзавелись детьми. Теперь вот я вижу, что мне удалось все-таки спасти Митю не только от смерти, а даже и от инвалидности, а если бы были у нас маленькие, то ведь тогда меня, конечно, не было бы с ним в Севастополе, и он бы непременно погиб от недостатка ухода, до того он был плох. Когда бы вы видели только, сколько от этого погибает несчастных солдат! Ужас! Тысячи! А между тем будь уход, какой следует, их можно бы было спасти так же, как и Митю.

— От недостатка ухода, вы сказали? — восторженно Василий Матвеевич. — Женского, женского ухода, разумеется!.. О чем же говорю вам и я? Только об этом! Отчего же погибаю и я? Только от этого!.. А я погибаю, Елизавета Михайловна, погибаю!

И он сложил перед нею руки, как складывал, когда молился перед иконой, и глядел на нее умоляюще, как на икону.

— Кто же вам велит погибать, если только вы сейчас не играете какой-то роли? — наблюдая его, так же спокойно, как прежде, сказала она.

— Чтобы я, я... играл перед вами... роль какую-то? — изумленным и даже несколько оскорбленным тоном отозвался он.

— Я, например, слышала, что у вас есть и семья в Курске, значит вы не такой уж и одинокий, — продолжала она.

— В Курске? От кого же это вы слышали? — отшатнулся он.

— Право, не помню уж от кого именно.

— Да, есть, есть семья в Курске, не отрицаю! Но ведь это же обыкновенный мезальянс! У кого же нет таких побочных семей?

Он принял восторженно беспечный вид, как уличенный в полнейшем пустяке, а она припомнила вдруг, как ключница Степанида говорила

ей о «незаконной» семье Василия Матвеевича, живущей в Харькове, а совсем не в Курске, поэтому совершенно произвольно, как бы желая поправиться, протянула она:

— В Харькове?

— А-а, и о харьковской моей семье вам уже насплетничать успели! Та-ак-с! — И Василий Матвеевич прошелся по комнате петушком и пригладил перед зеркалом свой зачес. — О курской моей семье вы могли, конечно, узнать от своих родных в Курске или же от хороших знакомых там же, а что касается харьковской, то это уж кто-то вам шепнул из моей милой дворни... И, пожалуй, даже я догадываюсь — кто!

Глаза у него посуровели вдруг и стали очень неприятны Елизавете Михайловне, так что она пожалела, что проговорилась, выдав тем Степаниду. Чтобы задобрить его, она сказала:

— Я понимаю, что вы думаете о такой семье, какую дает только церковный брак.

— Вот именно-с, — буркнул он нелюбезно.

— Чтобы жена ваша жила с вами здесь, помогала бы вам в хозяйстве, разделяла бы все ваши вкусы...

— Непременно-с! Всенепременно!

Он еще смотрел на нее подозрительно, но, видимо, начал уже смягчаться; она же продолжала:

— Если вас томит одиночество, когда у вас так много дел, то сколько девиц и вдов томит оно в тысячу раз сильнее потому уже, что они ничем не заняты.

— Назовите же мне хотя бы одну! — стремительно придвинулся он к ней.

— Так вот сразу разве можно припомнить? — улыбнулась она.

— А может быть, у вас есть не то чтобы родная сестра, — такой нету, я знаю, — двоюродная, троюродная, только чтобы на вас похожая, а?.. Есть?.. Разумеется, незамужняя только, подумайте!

Он смотрел на нее с самым неподдельным упованием: это светило в его глазах, это было в его вытянутой к ней шее, подавшихся вперед плечах, даже пальцах, но ей все-таки пришлось сказать ему:

— Нет, такой не найдется.

— Вот видите! — отшатнулся он. — А вы говорите тысячи! — И даже голос его опал. Однако он не отошел от нее; он добавил проникновенно: — Митя счастливый человек. Он не даром, — вы это знаете, надеюсь, — в сорочке родился.

— В сорочке? — машинально спросила она.

— Именно, в сорочке... Вот когда вам придется рожать детей, вы узнаете, что это такое — сорочка.

— Вы меня спрашивали о двоюродных моих и троюродных сестрах, но если бы они и существовали на свете, то ведь у них ни у кого не было бы в приданом имения, как не было его и за мной, — не совсем без умысла сказала Елизавета Михайловна.

— Вы, вы лично, такая, как вы есть, стоите большущего имения! — горячо отозвался на это Василий Матвеевич.

В это время донесся из спальни голос Дмитрия Дмитриевича:

— Ли-за!

И она тут же встала и вышла, поспешно простясь со старым холостяком, отнюдь не обремененным двумя своими семьями в двух соседних губернских городах, Харькове и Курске, но мечтающем о третьей семье, в Хлапонинке.

II

А Хлапонинка все-таки не хотела верить даже и «дружку» Дмитрия Дмитриевича Терентию Чернобровкину, что сын их бывшего помещика, раненый офицер, приехал сюда только на поправку. Впрочем, и сам Терентий этому не верил. Он оставался при прежних мыслях, что в барском доме теперь идут затяжные разговоры только о той доле имения, которая должна бы принадлежать племяннику, но перехвачена у него из рук ловким на эти дела дядей.

Однажды в тихий светлый день Дмитрию Дмитриевичу вздумалось пройтись по дороге к деревне; дорога же была очень веселая на вид: накатанная полозьями, она ярко лоснилась и золотела на солнце. Конечно, Елизавета Михайловна шла под руку с ним. Терентий же в это время, взгромоздясь на большой омет, сваливал деревянными вилами-тройчатками солому вниз, где стояли сани.

Увидев бар, когда они были еще далеко, он сейчас же соскользнул с

омета, отряхнулся поспешно и пошел наперерез им.

Говорить с ними ему было о чем: как раз в этот день утром до него дошло через дворню, что его, как и Тимофея «с киллой», хотят поставить в сдаточные по ополчению.

Слух этот, правда, показался ему дурацкой шуткой, — он считал себя вполне «справным» мужиком, каких невыгодно помещикам отдавать в солдаты, да и действительно был таким. Он только посмеялся в бороду, когда это услышал, но думал все-таки вечером зайти в контору, к бурмистру, спросить.

Теперь же, увидев Дмитрия Дмитриевича с женой на дороге, он даже подумал, не к нему ли идут они по этому делу, и почувствовал вдруг, что плохо греет его старый армяк.

Дойдя до «дружка», он уже не протянул ему руку, как хотел было сделать; он крепко зажал в ней свою шапку и низко согнул спину, здороваясь: по тому смущению, какое зорко высмотрел он на лицах обоих, подходя, он понял вдруг, что слух-то ведь верен. Он даже не решился теперь назвать «дружка» по имени-отчеству.

— Барин! Что это, говорят, будто в ополченцы меня?.. — проговорил он кое-как и впился глазами в обоих.

— Да, брат Терентий, слышал это и я тоже, — ответил Дмитрий Дмитриевич, остановясь, а Елизавета Михайловна тут же постаралась по-женски смягчить слова мужа.

— Еще неизвестно пока... Может быть, Василий Матвеевич передумает.

— За что же, батюшки мои? Ведь четверо ребятишек... как же это? — бормотал непослушными заледеневшими губами Терентий, глядя на нее, и она снова попыталась его успокоить.

— Да ведь о манифесте говорят еще только, что будет, а может быть, его и не будет?

— Как же так не будет? — серьезно поглядел на нее Дмитрий Дмитриевич. — Он должен быть... Откуда же иначе... откуда взять пополнения для армии?

— Неужто ничего нельзя сделать? — спросил его Терентий.

— По газетам выходит, что иначе нельзя... Союзники шлют и шлют войска в Крым... Шлют и шлют... Десятками тысяч... Как же нам быть?

Надо, значит, и нам тоже, — ответил Дмитрий Дмитриевич, не поняв, что он спрашивает его о своем деле.

Его поправила Елизавета Михайловна, добавив:

— Мы, конечно, попробуем отговорить Василия Матвеевича... Четверо детишек маленьких, — как же можно? Неужели не найдется еще кого, более свободного?

— Найдется, барыня! Десятка полтора найдется совсем свободных! Явите милость божецкую, поговорите! — смотрел теперь уже только на нее Терентий испуганными, жалкими глазами.

Они не пошли дальше. И у него и у нее явились одинаковые мысли, что там, в деревне, они услышат еще несколько жалоб и просьб исхлопотать что-нибудь, за кого-нибудь замолвить слово... Не обещать поговорить было нельзя, конечно, говорить же с таким, как Василий Матвеевич, и ему и ей было трудно.

О Терентии все же зашла речь в тот же день за обедом, и начал ее Дмитрий Дмитриевич.

— Дядя, у меня к тебе просьба, — сказал он твердо.

— А-а! — протянул удивленно дядя, так как это была первая просьба со стороны его обычно молчаливого племянника.

— Просьба такого рода... Ты говорил, что поставишь в ополченцы Терешку... — Тут он зашевелил пальцами и вопросительно поглядел на жену.

— Чернобровкина, — подсказала Елизавета Михайловна.

— Ага! Та-ак-с! — подмигнул понимающе Василий Матвеевич. — Говорил я насчет Терешки, да-с.

— Так вот моя просьба: нельзя ли его все-таки... оставить на тягле... заменить кем-нибудь другим, а?

— Угу! — промычал довольно Василий Матвеевич, опустив глаза в тарелку с супом: он как будто давненько уже ожидал этого именно разговора; недели две прошло со дня его приезда из Курска, где он узнал насчет ополчения. — Другим, говоришь, заменить? Чем же плохой из него ополченец может выйти?

Тут дядя посмотрел на своего племянника-офицера недоуменно-вопросительно, точно он был член приемочной комиссии и браковал его сдаточного.

— Неплохой... Даже отличный... Если бы все помещики дали таких, чего бы лучше!

— Ну, вот видишь, вот видишь! — так и просиял дядя. — Я стараюсь, не щадя сил и средств, я всячески готов содействовать! А ты, сам пострадавший за веру-царя-отечество, ты вдруг хочешь почему-то сбить меня спанталыку!

И дядя поднял торчком узкие плечи в знак изумления.

— Да ведь у него, у Терентия, четверо детей, — напомнила Елизавета Михайловна.

— А у другого, у Тимофея, разве не четверо детей тоже? Что же, я и его должен оставлять на завод? — игриво обратился к ней Василий Матвеевич.

— Как так? Неужели у него тоже четверо?

— Вот видите! А вы и не знали! Об этом просите меня, а другой что-то вам совсем уж не интересен. Правда, пока еще четверых у Тимофея нету, но четвертый уже в ожидании: вот-вот... Баба его последний уж месяц донашивает, — подмигнул Василий Матвеевич.

— Как хотите, а это бесчеловечно с вашей стороны! — решительно сказала Елизавета Михайловна и положила ложку.

— Пу-стя-ки-с!.. В порядке вещей... Кушайте, пожалуйста, не волнуйтесь! — так же игриво отозвался Василий Матвеевич. — Ополченцы, по-моему, должны быть люди степенных лет. Это ведь не то, что солдаты. Их не на двадцать пять лет берут, а только на эту вот войну. А кончится война, кому охота будет их зря кормить? Сейчас же их по домам, и мои опять ко мне явятся: наш атлас не уйдет от нас.

— Хорошо, если явятся, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Могут и там остаться.

— Тогда уж будет моя потеря: жертва моя, так сказать, на алтарь отечества... И никто не возместит ничем, я справлялся, — ничем и никак... Терпи, помещик! Выноси на своих плечах!

— Я еще в Симферополе слышала, будто иные помещики давали вольные семьям убитых солдат, — сказала Елизавета Михайловна.

— Что-о? Вольные дают? — испуганно поглядел на нее Василий Матвеевич. — Ну, это уж какие-то слабые умом или миллионеры, которым некуда девать добра! Те, конечно, все могут... Даже по снегу

летом ездить! Дворцы в одну ночь строить!..

Он оказался так растревожен этими «вольными», что пришлось на время заняться только супом. Но, дав дяде достаточно времени, чтобы прийти в себя, Дмитрий Дмитриевич снова заговорил о Терентии.

— Тимофей, кажется, одних лет со мною, но я его что-то не помню... А Терентий, Терешка-казачок, как же можно! Он был мой товарищ детства, этот Терешка...

— Угу, — неопределенно промычал дядя, наблюдая его исподлобья.

— Да ведь Тимофей к нам и не обращался, — добавила к словам мужа Елизавета Михайловна.

— Ну да, да, — а Терентий обращался, и не один раз! — живо подхватил дядя. — Как же, как же, скажите, пожалуйста, — «товарищ детства»!

В тоне, каким это было сказано, и в презрительной ужимке при этом показалось кое-что обидное Дмитрию Дмитриевичу, но он постарался сдержаться.

— Да вот, что поделаешь... Других товарищей детства у меня тут не было... особенно в зимнее время... так сложилось... Одним словом, ты бы очень меня одолжил, дядя, если бы оставил его...

Елизавета Михайловна догадалась, что кто-то уж постарался передать Василию Матвеевичу, чуть только он приехал тогда из Курска, что без него заходил в дом поговорить с ними Терентий, сначала один, потом даже с женой, и это именно почему-то чересчур встревожило и возмутило дядю. С тою способностью к мгновенным догадкам, какая присуща женщинам, она начала понимать также и то, почему Василий Матвеевич сдает Терентия, и ожидала только намека с его стороны, чтобы утвердиться в своей догадке.

И намек этот тут же был сделан.

— Пусть даже и товарищ детства был он твой, Митя, — об этом не спорю, — враждебно глядя почему-то, заговорил Василий Матвеевич, — однако же ты его знавал только в детстве, а какой гусь теперь из него вышел, это уж ты предоставь знать мне, вот что-с! Я его и то уж терпел долго, — другой бы не стал, — другой давно бы уж этого тпруську взял на хо-ро-о-ший налыгач, да-с!.. Он, должно быть, именно с детства и привык тут, в людской, не в свои дела

вмешиваться да этой своей привычки милой и на деревне не оставил... Нет, нет, это уж решено и подписано, и быть по сему: пускай-ка в ополченцах помарширует, и ему польза и мне не вред... И давай-ка уж, сделай милость, больше мы о нем говорить не станем.

Он налил себе стакан вина и взялся было за стакан племянника, но тот довольно резким движением руки отвел его руку, сказал:

— Не нужно.

— Угу? — полувопросительно отозвался дядя, племянник же продолжал с горечью:

— Я думал, что для тебя что же тут такого... Полнейший пустяк мою просьбу исполнить... а ты вот почему-то не хочешь... Между тем я ведь ему слово дал!..

— Слово дал? — Василий Матвеевич глотнул вина и заговорил раздельно, отчетливо: — Во-первых, напрасно ты давал слово, но я-то, конечно, в этом не виноват... А во-вторых, твое слово — это слово офицера из дворян, а дал ты его кому? — Хаму!.. Хаму, который стоит между нами с черным котом под мышкой... Да, пожалуй, уже этого черного кота и пустил между нами, а?

— О каком это он коте черном? — удивленно обратился к жене Дмитрий Дмитриевич.

А Василий Матвеевич, не теряя времени, поспешно глотал в это время вино, наблюдая при этом их обоих сквозь узенькие щелки глаз; когда же допил, наконец, то поставил стакан, стукнув им так, что чуть не вышиб дна.

— Довольно! — выкрикнул он вдруг. — Довольно в молчанки играть! Вы, сударыня, Елизавета Михайловна, как я о вас слышал и раньше, — слава богу свет не без добрых людей! — оказались особой очень, как бы это выразиться, дальнорзоркой, что ли, но мы с вами должны уже теперь объясниться начистоту... А также и с тобою, Митя... Да, да, извольте, извольте-с, я от чистоты не прочь! Я, признаться, только о чистоте всегда и мечтал тут вот, про себя, втихомолочку... Но что же, однако, вышло из всех этих моих мечтаний скромных? — А вот что именно-с. Я получаю однажды эстафету, из которой узнаю, что ты, Митя, тяжело ранен, нуждаешься в продолжительном лечении и прочее... «Тяжело» же, это что собственно значит, когда пишут по-

родственному? Ведь не чужому же кому писано, а дяде родному! «Тяжело ранен» — это нужно было понять так, как я и понял: «Еле-еле можаху, и дай бог довести в живых, а уж похороним его на родном кладбище, возле отца с матерью...» Вот что только, это значить могло, — единственно!

— Дядя! — возмущенно остановил его Дмитрий Дмитриевич.

— Знаю, что я тебе дядя, потому-то и говорю так, и прошу меня не перебивать, а дослушать, — вразумительно отозвался Василий Матвеевич, даже ладонь выставил в его сторону; потом он налил себе еще вина и продолжал в прежнем взвинченном тоне: — О жене же твоей я слышался в Курске когда-то, что и красива-то, — вполне согласен с этим! — и умна-то, — тоже согласен, — и вообще, — согласись теперь и ты со мной, — должен же я был после этого захотеть посмотреть на свою родственницу, которую ты от моих глаз скрывал несколько лет? Вот я ввиду всех обстоятельств этих и послал ответную эстафету, а как же я мог бы сделать иначе?.. Послал и жду. С большим нетерпением ждал я вашего приезда, Елизавета Михайловна, поверьте! И, кстати, ваше здоровье!

Он кивнул ей и отпил сразу полстакана.

Дмитрий Дмитриевич переглянулся в это время с женой, и та сделала ему едва заметный знак ресницами, означавший: «Держись спокойней! Не выходи из себя!»

— И вот, наконец, приехали вы, — продолжал Василий Матвеевич, — и я с первого же дня понял, что я... обманут!

— Как так обмануты? — строго спросила Елизавета Михайловна.

— Ах, в самом лучшем смысле, дорогая! — тут же ответил Василий Матвеевич, впрочем, не улыбнувшись при этом. — В отношении Мити оказалось, что вы... несколько преувеличили. Во-первых, не рана, — это с одной стороны, — не рана, а только контузия, во-вторых, с другой стороны, ничего и тяжелого не было.

— Было!

— Может быть, но крымская медицина постаралась, и мы-то уж этого не увидели... Не сомневаюсь, я не сомневаюсь, Елизавета Михайловна, что вы были сами введены в заблуждение, а меня ввели в оное заодно с собой. Но если бы даже было и иначе...

— Как же именно иначе?

— Предположим только! Сделаем предположение, что тут именно вы и проявили свою дальноркость... или это, кажется, называется дальновидность, но не один ли это русский язык?.. Итак, предположим, что вы имели в виду, собрав обо мне сведения стороною, следующую картину. Живет, мол, одинокий, как палец отрезанный, так называемый Василий Матвеич Хлапонин, дядя вашего мужа. Когда-то случилось так, что к нему, на вполне законном, разумеется, основании, перешла часть имения — Хлапонинки, принадлежавшая вашему свекру, как мы бы теперь говорили, если бы был он жив, а моему брату...

Сказав это, Василий Матвеевич допил второй стакан и вытер усы салфеткой; он как будто ждал, не раздадутся ли возражения, но ничего не раздалось. Оба слушателя смотрели на него в высшей степени внимательно, и только. Ему оставалось продолжать, что он и сделал.

— Сидит он, то есть я, как старый сыч или хрыч, — так могли вы думать, — и неужели же так-таки никаких родственных чувств у него не шевельнется и он не скажет нам: «Вот она — Хлапонинка, родовая вотчина наша! Не расточил, а даже кое-что присовокупил к ней, кое-где округлил, что у нее запало, привел в откормленный вид... Поселяйтесь навсегда тут, дети мои, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю сию и господствуйте над нею!»

Дмитрий Дмитриевич кашлянул и так поглядел на своего дядю, что Елизавета Михайловна вынуждена была снова остановить его, теперь уже не только движением ресниц, но и бровей. Он взял в обе руки вилку и нервно начал играть ею, а дядя продолжал, как бы не замечая:

— Таково могло быть одно предположение, однако человек всегда, когда идет на то или иное дело, выдвигает по крайней мере еще и другое и третье... Другое же ваше предположение было такое, друзья мои!.. (Тут голос его зазвучал зловеще.) Допустим, что не расчувствуется хрыч или сыч и ничего такого сентиментального не скажет, тогда-а... тогда мы начнем действовать иначе! Тогда мы подберем себе всяких таких свидетелей и очевидцев и начнем-ка мы

дело в суде... благо есть у нас на примете Терешка...

— Ну, ты как хочешь, а я больше не желаю слушать подобное! — крикнул жене Дмитрий Дмитриевич и, бросив вилку, поднялся.

Привыкшая следить за каждым его движением, Елизавета Михайловна заметила, что поднялся он так, как мог подниматься только до своей контузии, — быстро, молодо, а вилку перед этим отшвырнул левой рукой, а не правой, тою самой левой рукой, которая как бы навсегда отвыкла от всяких вообще жестов, не только от сильных.

И в голосе ее было, пожалуй, больше радости за своего Митю, чем презрения к его дяде, когда она, поднявшись тоже, сказала ему сдержанно:

— Низкий и жалкий вы человек!

— А-а! Вот уж вы на каком наречия заговорили! — отозвался Василий Матвеевич, как будто даже довольный тем, что довел ее до «такого наречия».

— Как это могли вы вообразить, что нам нужно имение? — изумленно продолжала она.

— О-о! Скажите, пожалуйста! Не нужно? — так и подскочил он, шутовски перекрутившись на одном правом каблуке.

— Пойдем, Лиза! — сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Батарейным командиром быть, это, конечно, стоит моего имения, — ядовито заметил Василий Матвеевич. — Но если вы не хотите имения, то, может быть, вы не откажетесь от лошадей моих ехать на станцию?

— Нет, откажемся! — крикнул Дмитрий Дмитриевич. — Мы возьмем лошадей у кого-нибудь на деревне, но на твоих больше уж не поедем!

— Так вот что я от тебя услышал за мою хлеб-соль вместо благодарности? — притворно горестно покачал головой Василий Матвеевич. — Хорош племянничек!

— Дядюшка, дядюшка хорош! — крикнул Дмитрий Дмитриевич и, обняв Елизавету Михайловну за плечи левой рукой, сказал ей: — Пойдем-ка, Лизанька, собираться ехать в Москву! И подсчитай, сколько мы с тобой могли ему стоять — из Москвы вышлем!

III

Все-таки для того сильного волнения, какое пришлось Дмитрию

Дмитриевичу пережить за обедом, он был еще слаб. Ему пришлось лечь от резкой головной боли, а Елизавете Михайловне — окутать ему голову мокрым полотенцем. Но выехать из Хлапонинки если не теперь же, на ночь глядя, то утром на другой день было решено ими бесповоротно, и она занялась укладкой чемоданов; Арсентий же был послан в деревню подрядить кого-нибудь с парой лошадей, хотя бы и на простых розвальнях, довезти их до Белгорода, где уж гораздо легче было найти обывательские сани до Курска. В Курске им обоим все было хорошо знакомо, и там они могли бы не спеша собраться в Москву.

Рыженький казачок Федька, столь разительно похожий на Василия Матвеевича, приходил от него с приглашением к ужину, но Елизавета Михайловна отказалась и за себя и за мужа и заперла дверь на ключ, опасаясь какой-нибудь новой выходки со стороны хозяина Хлапонинки.

Раза два она слышала, как шаги его останавливались перед их дверью, и ожидала стука, однако постучать в дверь и что-нибудь сказать — примирительное или вызывающее — он так и не решился.

Ночью Дмитрий Дмитриевич спал неожиданно для нее спокойно, а рано утром, проснувшись, бодро спросил:

— Ну что же, едем?

— А ты как? Можешь ли ехать? Или лучше переждать день? — забеспокоилась она.

— Что ты, что ты — «переждать»? Вполне могу, и куда угодно... Хотя бы даже и в Севастополь! — отозвался он весело.

Оделись и собрались они быстро. Два тяжелых чемодана их Арсентий отнес на деревню еще с вечера, как только с помощью Терентия нашел лошадей, сани, возницу.

Из длинного дома под старинной камышовой крышей, теперь очень опрятно прикрытой толстым снежным ковром, густо-сине-розовым от утра, они выходили гораздо менее торжественно, правда, чем в него входили с месяц назад, зато чувствовали себя оба гораздо счастливее. Собаки, привыкшие уже к ним, не лаяли, а виляли добродушно хвостами и бежали за ними следом, когда они проходили по усадьбе; дворовые, хотя и встали уже, но только шушукались издали, стараясь

не попадаться им на глаза, так как все уже знали о размолвке между ними и Василием Матвеевичем; что же касалось самого Василия Матвеевича, то он, отворив форточку в окне своей спальни, не отходя смотрел им вслед, пока они не исчезли за поворотом.

То, что они не обратились к нему даже за лошадьми, чтобы доехать до станции, поразило его чрезвычайно. В халате и туфлях, как был в спальне, он кинулся потом в их комнату и оглядел ее всю, насколько позволил слабый свет утра. Он заметил перчатки Елизаветы Михайловны, вязанные, старые, худые перчатки, брошенные ею в угол как ненужный хлам, и, жадно схватив их, унес к себе, несколько раз прижал к губам и запер их в своем письменном столе.

Переживания его были сложны и смутны даже и для него самого... С одной стороны, он сделал как будто удавшийся вполне ход — сразу избавил себя от всяких опасений со стороны племянника, с другой — как глухо и пусто стало во всем его доме, как только ушла из него Елизавета Михайловна!

У него мелькнула даже мысль не медля послать приказ кучеру Фролу запрячь вороную пару в те самые сани, в которых он привез Елизавету Михайловну, и отправиться вдогонку, если она с мужем успела уже сколько-нибудь отъехать в мужицких розвальнях; попросить ее убедительно пересесть к нему, а он отвезет их на станцию, куда на барских хороших конях приедут они и гораздо скорее и удобнее. В то же время — это странно было даже ему самому — приказ этот как-то не складывался в его голове вполне определенно: он возникал и горел ярко, но тут же вдруг тускнел и пропадал, возникал снова и опять тускнел, и так и не вылился в слова, хотя раза два для этой цели подзывался Федька.

За это время Елизавета Михайловна под руку с мужем, идя вслед за Арсентием, тащившим узел и небольшую корзинку, пришла к хате, возле которой стояли сани, запряженные парой мелких, но сытых, слегка заиндевевших лошадок. К облучку саней привязаны уже были чемоданы; вместо полсти лежал новый полосатый домотканый деревенский ковер, данный ради этого случая женой Терентия, которая стояла тут же вместе с ним и с хозяином саней, высоким нестарым человеком в нагольном тулупе, в серой смушковой шапке с

наушниками: такие шапки называли здесь капелюхами.

Чем кончилась попытка Дмитрия Дмитриевича похлопотать за него, Терентий знал и теперь смотрел и на него, укутанного в теплую шинель с бобровым воротником, и на жену его в меховой шубке и теплом лиловом капоре виноватыми, запавшими от бессонной ночи глазами.

Он несколько раз досадливо хлопал себя по бедрам дюжими руками, говоря при этом:

— Вот же догадало меня авчорась оборотиться к вам, Митрий Митрич! Ну, не знал я, что ли, этого ирода, хотя бы ж он вам и дядя родной доводится, извиняйте меня, дурака! Вот и вышло, что ради меня и вы с места столкнуты в холодную дорогу, а могли бы вполне у нас тут до весеннего времени провесть, и вам бы польза от этого была... Эх, бить меня надо за такое дело!

— Ничего, брат, ты себя не вини! — утешал его Хлапонин. — А что дядя мой ирод, это ведь верно, это я и до тебя знал... И, пожалуй, оно, брат, лучше вышло, что мы уезжаем.

— Ну, где же лучше, когда вам мученье!

— Ничего, я уж окреп... А вот что касается тебя, брат, то мне кажется, раз я уезжаю, то и у него нет теперь причины в ополченцы тебя сдавать.

— Как это? — не понял Терентий.

— Да ведь он вообразил что? Будто ты мне помогаешь мою часть имения у него отнять!

— Митрий Митрич! — торжественно отозвался на это Терентий. — Все бы решительно как есть, что бы вы мне ни приказали, — сделал! — И глаза его блеснули так, что Хлапонину стало несколько жутко. — Ведь это же всем известно округ, — обобрал вас, ирод! А может, вы по этому делу в губернию едете?

Они говорили, отъединившись от других, но при последнем вопросе Терентий все-таки понизил голос почти до шепота и огляделся.

— Нет, нет! Это дело вести — большие деньги нужно иметь, а у меня их нет, — ответил поспешно Хлапонин. — Да я и не умею быть помещиком... Это — подлое дело... А тебя он оставит, я думаю.

— У него все суды закуплены, правда, — согласился тут же Терентий и

добавил: — Не-ет, он меня не оставит все равно — сдаст! Я ему как все равно рвотный порошок. Сколько уж разов это было: он назначит кого пороть, а я вступаюсь. Я Фролу-кучеру говорю: «Смо-отри! Ты силу при себе имеешь, ну и я тебе не горшок сметаны, — мною не наешься, а скорее подавишься!..» Рассудите сами, Митрий Митрич, кто же бы нас сек, если бы не из нашего же звания находились такие анафемы?.. Ну, Фрол, конечно, барину жалуется, а барин мне: «Желаешь, чтоб я тебя самого приказал разложить?» Я смеюсь: «Кто же найдется такой, меня чтоб разложить мог?» — «Приставу, говорит, передам тебя с рук на руки, — вот что я сделаю!» Я опять же вроде как смеюсь: «Какая же вам от этого польза произойти может, барин? То я вам когда зайчишек притащу — ваш подарочек берегу: ружье двустволку, Митрий Митрич! — то уток или там вальшняков весной-осенью, — все-таки вам забава...» — «Дичь, говорит, я уважаю, она мне вроде кровь полирует, — дичь приноси... А только подумай, чья же может быть на моей земле дичь эта? Зайцы если — мои они зайцы; утки если — на моей воде; ты тоже являешься мой верноподданный... А если ты признаешь себя таким здоровым, что поздоровее Фрола будешь, и орудуй розгами вместе с Фролом». — «Нет, говорю, барин! Чтобы я к вам вроде в палачи какие шел, об этом вы забудьте и думать!» — «Ну, тогда пошел к черту!» Он кричит это, а я ему вполне тихо: «К черту, говорю, мне дорога неизвестная, а домой к себе это я пойду...» Ну, и так, кроме наказаний, чуть какой есть прижим мужикам нашим от барина, они сейчас ко мне: «Иди, Терентий, поговори, — ты смелость в себе имеешь...» Я, конечно, иду вроде как от всего мира... Вот через что я у него, у барина, смутьян стал... Не-ет, он меня не помилует — сдаст... Ну, ничего! Мне тоска была ночью за вас, Митрий Митрич, — как я слышал, — Арсентий сказывал, какой у вас разговор из-за меня произошел.

— Обо мне не тоскуй, чудака ты! — похлопал его по плечу Хлапонин. — Я даже доволен, что от него уезжаю.

Терентий очень пристально глядел в его глаза и повеселел, заметив, что «дружок» его действительно, кажется, доволен. В это время подошла Елизавета Михайловна и сказала:

— Ну, Митя, все готово в избе, — завтракать приглашают.

— Милости просим, барин, чем бог послал! — подошла и жена Терентия и поклонилась в пояс.

За завтраком долго не сидели, хотя жена Терентия не поскупилась для этого на свой бабий труд ночью. Торопила Елизавета Михайловна, которой хотелось поскорее подкинуть Хлапонинку. Перед тем как сесть в сани, поцеловались Митрий Митрич с Терентием, Елизавета Михайловна с его женою; наконец, устроились на соломе, покрытой дерюгой; Арсентий в ногах на чемоданах.

Между тем собралась, конечно, толпа любопытных. Всем хотелось узнать, почему это от их барина уезжает родной племянник, раненный в Севастополе офицер, не на лошадях из барской конюшни; все жались поближе к саням, желали «счастливой дороги», глядели во все глаза...

Наконец, дернули застоявшиеся «котятя», и пошли прыгать полозьями без подрезов по ухабам и раскатам...

IV

Через несколько дней после отъезда Хлапоновых, именно в последнее число января, манифест о наборе ополчения с шести центральных губерний, — между ними и с Курской, — дошел до Хлапонинки, и Терентий узнал в конторе окончательное решение о себе и Тимофее «с килой»: оба они сдавались в ополченцы.

— Ну что же, Тимоша, милый, — обратился, поблескивая глазами, Терентий к своему товарищу. — Мы с тобою хотя и не молодых годов считаемся, все-таки вроде как некрута сделались... Выходит, что погулять перед отправочкой надо!

Тимофеем втайне надеялся, что его из-за шишки все-таки забракуют. А чтобы показать ее там, в городе, в комиссии, во всей возможной красе, он старался разминать ее до боли и прикладывал к ней на ночь теплую суконку, чтобы ее распарить и довести до вполне внушительных размеров. От гульбы же он, конечно, не отказался, тем более что как раз в это время подошла и масленица.

И гульба началась.

Первый во всей округе силач и охотник, Терентий был и первый на

деревне плясун и запевала: у него был звонкий залихватский голос, и он умел им владеть. Обнявшись с Тимофеем и стараясь казаться пьяным в дым, хотя ничуть пьяным он не был, шел он по деревенской улице впереди большой толпы стариков и парней, девок, баб и ребят и ухарски, с присвистами пел старую рекрутскую песню о Ваньке Хренове:

Как на горке да на крутой
Постоялый двор худой,
Некрытый... Ба-арыня!

«Барыню» подхватывал исступленно, хотя и хрипло, Тимофеей «с киллой»:

И-эх, барыня с перебором
Валялася под забором,
Ба-арыня ты моя!
Сударыня ты моя!

А Терентий продолжал заливистым тенором:

Постоялый двор худой,
Постоялец молодой —
Ванька... Ба-арыня!
Постоялец молодой,
Закатистый, удалой —
Хренов... Ба-арыня!
Ваньку Хренова забрили,
Все в деревне затужили, —
Плачут!.. Ба-арыня!..
Ни из чести, ни из платы
Не идет мужик в солдаты, —
Не хочет!.. Ба-арыня!..
Пальцы рубит, зубы рвет,
В службу царскую нейдет, —

Боится!.. Ба-арыня!..

Под «Барыню» плясали... Неутомимо тренькали три балалайки, и гремел о дюжий кулак бубен с позеленелыми медными бубенчиками на кругу.

Все-таки как-никак это было масленичное веселье, и только одна жена Терентия ходила заплаканная, жена же Тимофея держалась спокойнее: она, как и муж ее, питала крепкую надежду, что киловатых брать на службу не полагается, что в городе это разберут и придется их барину на замену Тимофея выставить кого-нибудь другого.

Уже смеркалось, когда Терентий, казавшийся всем совершенно уже осовелым от выпитой водки, от целодневной пляски и песен, ушел с улицы к себе домой, чтобы лечь спать, и он действительно лег было на лавку, однако лежал недолго. Даже жена его, бывшая с ребятами на улице, все еще шумливой и разноголосой, не заметила, как он поднялся, осторожно вышел из избы и направился задами — гумнами, огородами — к барской усадьбе.

К вечеру заснежило, и этот густой вьющийся крупными хлопьями снег укрыл его, идущего по-охотничьи шмурыгающими шагами, но совсем не на усталых и не на пьяных ногах. Напротив, ноги его были упруги, хмеля он не чувствовал. Он шел поговорить со своим барином в последний раз.

Идя задами, как он и начал идти, Терентий не свернул и потом на санную дорогу к усадьбе. Он шел к барскому дому, но заведомо окольными путями, по цельному снегу, правда неглубокому, окраиной яблоневого сада, обсаженного вязами в виде ветролома.

Кому-нибудь издали могло бы показаться, что он, охотник, выследил какую-нибудь дичь и подкрадывается к ней на ружейный выстрел. Но ружья при нем не было, и если он действительно шел крадучись, то потому только, что не хотел попасться на глаза кому-нибудь из дворни. Даже заметив издали древнюю, подслеповатую бывшую няньку Дмитрия Дмитриевича, он притаился, приткнулся к толстому дереву и так стоял, пока она, окутанная толстой теплой шалью и в крытом полушубке, не прошла там, в стороне между строений.

Было сумеречно, но совсем не настолько еще, чтобы в деревенском, хотя бы и барском доме начали уже зажигать огни, и окна его тускло чернели. Так как Терентию во всей усадьбе нужен был только сам барин, то он без труда отыскал глазами два окна барской спальни, служащей в то же время и кабинетом. Весь дом был ему очень известен: с тех давних пор, когда он был в этом доме казачком, здесь не производилось никаких переделок.

Глядя на окна, Терентий решал беспокоивший его вопрос — нет ли в доме гостя, или гостей по случаю первого дня масленицы, но скоро понял, что гостей не было: никакой суеты на дворе, неизбежной при гостях, он не приметил. Напротив, было очень безлюдно как-то и тихо, даже собаки не вертелись, а сидели по конурам: это был час, когда Василий Матвеевич обыкновенно отдыхал после обеда, и все около него позволяли себе такой же отдых. Тем более теперь даже и на людской обед не мог не быть грузен, конечно: блины. Блинами пахло в воздухе...

Терентий высматривал, вслушивался, караулил и надеялся, что барин его выйдет из дому прогуляться между послеобеденным сном и вечерним чаем. Он даже как бы убеждал его мысленно одеться и выйти на двор, а потом в сад по подметенной аллее, тем более что ведь вечер был тихий, нехолодный; мокрый снег, который вздумал было валить хлопьями, когда он вышел из своей избы, теперь неожиданно перестал... Ему казалось совершенно необходимым, чтобы в такой вечер барин вышел на полезную для его здоровья прогулку.

Он стоял за деревом так, что через аллею сада наискось ему было видно крыльцо перед парадной дверью, откуда мог появиться Василий Матвеевич. Отводя иногда глаза, чтобы оглядеться по сторонам, он следил за крыльцом и дверью... Прошло уже минут десять. Он тревожился тем, что становится заметно тусклее крыльцо, что начинают уже сливаться в одно резные колонки его парапета; вечерние тени кругом, хотя и не так быстро, но все-таки густели...

Однако, как охотник, он был терпелив, и он дождался. Он почувствовал даже, как сердце его замерло на момент, потом начало стучать по-особому гулко, когда, наконец, отворилась дверь, и Василий Матвеевич вышел, спустился с трех ступенек крыльца, стал

отчетливо темный на синеве снега и оглянулся туда-сюда.

Он был в короткой теплой бекеше, в шапке из черно-бурой лисы, с толстой палкой, которую держал посредине, наперевес. Терентий напряженно думал: «Эх, кабы в мою сторону пошел...» Он изо всех сил стремился, туго сжимая кулаки, к тому, чтобы барин двинулся по аллее, которая для чего же и устраивалась еще, как не для барских прогулок, и вышел бы прямо на него, где было безлюдно и укрыто. Эта толстая палка, которую барин держал, точно пику, она его манила; хотя он мог бы обойтись с барином и без палки, как и хотел, все-таки старинная человеческая привычка непременно иметь в руках какое-нибудь орудие превозмогла. Он так был уверен, что барин пойдет по аллее в его сторону, что даже отвернулся, чтобы не смотреть и этим как-нибудь не выдать себя раньше времени. Но, когда посмотрел все-таки вдоль аллеи, увидел, что она пуста, что барина нет и около крыльца, и едва-едва успел различить глаз черно-бурую шапку, мелькнувшую и пропавшую в противоположной от сада стороне.

— Э-э, черт! Куда же это его понесло? — зло буркнул, хотя и шепотом, Терентий и, оторвавшись от дерева, кинулся к конюшне, стараясь где пригнуться, где прилипнуть ко всяким встречным прикрытиям.

Ему теперь просто хотелось, чтобы барин был у него на виду: если даже пошел он проводить конюшню, то не будет же там ночевать, выйдет и пойдет обратно к дому, когда уж довольно стемнеет.

Терентий спешил, соблюдая все-таки привычную осторожность охотника, и когда обогнул конюшню с тыльной стороны и выглянул из-за угла, увидел неожиданно барина, который шел дальше, к одиноко стоящему у плотины домику — пивовару, и снова сначала замерло на момент, потом звучно заколотилось сердце Терентия: это было прямое охотничье счастье, удача.

От Тимофея «с килой» Терентий знал, что теперь следить за печкой в этом чудном заведении приставлен барином дворовый мальчишка лет шестнадцати Гараська, и понятно стало, что этому Гараське пока еще не доверял барин, почему и прогулку свою направил он в эту сторону. Плотина была обсажена ивняком, и Терентию удобно было, прячась за ним, не отставать от барина. Он думал только: в пивовару ли теперь

Гараська? Не шаркнул ли он в людскую ради масленицы? Очень хотелось ему, чтобы именно шаркнул в людскую.

Василий Матвеевич не вошел сразу. Он ждал, что, завидя его в окно, Гараська отворит ему дверь, вытянется в двери по-военному и его впустит: так он требовал. Он подождал с полминуты, но дверь не отворилась, — пришлось отворять самому. И когда Василий Матвеевич вошел в пивочник и, оглядевшись в сумеречном свете, шедшем из непротертых как следует окошек, увидел, что никого нет, он сказал с большим чувством:

— Ну, так и есть! Нету этого негодяя!

Считал ли Гараська, что не обязан все свое время проводить в этом унылом, отдаленно от всей остальной усадьбы стоящем домишке, в котором, кстати, нечего было и делать, кроме как вытопить печку, но его не было: пиявки оставались без надзора; это очень раздражило Василия Матвеевича,

— Вот подлец народ, — запричитал он горестно, — ну и подлец!.. Ну что тут делать с таким подлецом-народом?.. Пороть, пороть его, мерзавца, пороть!

Он стал над бассейном, в котором вода была аспидно-черной, возмущенно качая головой, потом направился к печке, пощупал, — показалась почти совсем холодной.

— Во-от так под-ле-ец! — протянул окончательно взбешенный Василий Матвеевич. — Пороть, пороть мерзавца!

Как раз в это время отворилась дверь, и вошел Терентий. Василий Матвеевич слышал, что отворилась дверь, думал, что вошел не кто иной, как Гараська, и занят был тем, чтобы сдержать себя, не беспокоить сердца. Он только тянул ехидно, не оборачиваясь:

— Будешь выпорот, будешь, погоди, дружище!

Терентий же, войдя, опасливо оглядывался, ища глазами Гараську и не понимая, с кем же это говорит барин, если Гараськи, как он и думал, нет.

Так прошло несколько мгновений, пока, наконец, Терентий не догадался, что его самого барин принял за вошедшего только что Гараську, а обернувшийся Василий Матвеевич разглядел, что перед ним Терентий, и застыл от неожиданности с широко раскрытым ртом,

из которого хотел было вырваться, но так и замер около самых губ крик, и глаза замерли, — чуть белели в полусумраке.

Убедившись, что Гараськи нет, что они с барином здесь одни, Терентий усмехнулся зло и вытянул почти добродушным тоном:

— И все кого-то-сь пороть хочет наш барин! Вот же труды-заботы какие у человека у этого!

Голос Терентия вызвал и замерший было голос Василия Матвеевича.

— Ты-то что сюда, а? Ты-ы... пьян? — крикнул в два приема Василий Матвеевич и, подняв палку, ринулся было к двери, но Терентий стал перед ним стеной.

— Этот крик твой теперь ни к чему, барин! — проговорил он сдавленно, но настолько зловеще, что Василий Матвеевич заверещал вдруг:

— Га-ра-аська!.. Га-ра-аська!..

Терентий быстро перевел глаза на дверь, отвел их снова к нему, выдернул у него палку из рук и бросил в воду, прохрипев: «И тебя туда же!» — обхватил его поперек, перевернул ногами кверху, и не успел Василий Матвеевич закричать снова, как свалилась шапка, и лысое темя его коснулось холодной воды, потом тут же вода залила ему глаза, уши, нос, рот, — вместо крика пузыри заklubились на воде, ушли в воду плечи и руки...

Терентий держал его за ноги, пока они не перестали дергаться, и так оставив тело в воде, ногами кверху, вышел и плотно притворил за собою дверь.

Он пошел теперь, когда сумерки стали уже густы и не сини, а серы, не домой. Теперь с домом, с семьей, с Хлапонинкой для него уже все было кончено. Но если бы даже вернейший человек встретился с ним теперь и спросил его, куда он идет, он не ответил бы, потому что не знал сам. Он знал только одно, что в том направлении, какое было им взято, первое село по дороге будет Таборское; там его знал кое-кто из крестьян, поэтому село это нужно было обойти стороною. В этом же направлении, если бы удалось дойти или доехать со случайными попутчиками, должен быть и Харьков — большой город, где можно бы было затеряться на первое время, а потом двинуться куда-нибудь дальше.

О брошенных им жене и ребятишках он старался совсем не думать.

Глава четвертая. Мартовское дело

I

Даже накануне большой вылазки, задуманной Хрулевым и разрешенной сначала Сакеном, а по приезде Горчакова и им, штаб-офицеры полков, предназначенных к ней, встречаясь между собой, говорили об этом так:

— Слыхали, будто на днях что-то предпринимаем?

— А что такое именно?

— Ну вот, делаете вид, что не слыхали!.. Конечно, военная тайна обязывает, да мы-то ведь люди свои!

— Уверяю вас, ничего не знаю!

— Вот тебе на! Как же так не знаете, а в дело идет, говорят, несколько полков!

— Скажите, пожалуйста! А я ничего решительно не знаю... Какие же именно полки?

— Да вот это-то я и хотел от вас узнать.

— Может быть, и наш тоже?.. А когда же вылазка?

— Слышал, будто скоро, а когда, не удалось добиться.

— Ну, господа, помощи.

Наученный опытом с атакой Евпатории, Хрулев теперь действовал в высшей степени скрытно. Впрочем, и особой сложности задуманное дело не представляло, и объемистой диспозиции писать ему не приходилось. Ее не требовала ночная вылазка против неприятеля, с которым все время находились в тесном соприкосновении благодаря ложементам с той и другой стороны. От вылазок, очень часто бывавших раньше, эта должна была отличаться только числом введенных в нее штыков.

В отряд Хрулева вошло восемь батальонов от четырех полков пехоты: Камчатского, Волынского, Днепровского и Углицкого; кроме того, батальон, составленный из моряков. Всего же было около пяти тысяч человек, так как батальоны дошли уже почти до половинного состава.

Хрулев просил больше, но Горчаков, который любил всякое дело обдумывать кабинетно всесторонне и потому очень долго, решительно отказал ему в этом.

Контрапроши в огромном числе и постепенное отжимание ими союзников от Севастополя к морю — это и была единственная идея, с которой бодро скакал он на курьерских защищать Крым; но если для защиты одного только смело выдвинутого вперед Камчатского люнета требовалось более пяти тысяч человек, то сколько же в таком случае надо было выставить для целой цепи подобных люнетов и редутов, которые в безукоризненно шахматном порядке лежали уже в его пылком воображении на семиверстной полосе обороны?

— Нет, нет и тысячу раз нет!.. Войска надо беречь для будущего, — говорил он Хрулеву. — Вот погодите, получим сорок батальонов резерву из Южной армии, тогда может быть... Скверное, очень скверное наследство оставил мне мой предшественник! Гнусное наследство!

Он деятельно начал знакомиться с положением обороны, чуть только устроился кое-как в инженерном домике, на Северной, и все, что он находил и видел, казалось ему необдуманным, незрелым, испорченным, из рук вон плохим.

— Но, ваше сиятельство, позвольте доложить вам, что, имея в руках такой небольшой отряд, я не могу обещать и крупных результатов вылазки, — говорил ему обескураженный Хрулев; Горчаков же отзывался ему своей любимой фразой:

— Да вы не заставляйте только ваших солдат штурмовать небо! Только это, больше ничего! А для штурмов на земле у вас превосходные солдаты: я их знаю по Дунайской кампании. Вот, видите ли, в чем заключается первейшая разница между мной и князем Меншиковым: по его мнению, наш солдат вообще очень плох, а по-моему — он превосходен... Только не надо от него требовать того, что выше сил человеческих, а все остальное он сделает, и в успехе вылазки я уверен!

Вылазка назначена была в ночь на 11 марта, и войска собрались на подступах к Камчатскому люнету, чуть только стемнело, причем Камчатский полк был здесь весь в полном составе, под командой

полковника Голева, но в дело шли только два батальона его, остальные же явились для земляных работ. Иеромонах Иоанникий был, конечно, тут же, в рядах полка. На нем была епитрахиль поверх рясы; крест накладного серебра он торжественно держал в руке, сетуя только на то, что тот очень легкий.

— Пустой в середине! Дутый! — гудел он, обращаясь к командиру первой роты, штабс-капитану Гречкареву. — Таким француза как следует и благословить-то нельзя будет!

— А вам зачем же французов благословлять, батюшка? — вполголоса увещевал его Гречкарев. — В наступление идет наш батальон и третий, а вы со вторым и четвертым в резерве останетесь, — вам своих тяжело раненных благословлять после исповеди придется.

— Как это, чтобы я да в резерве остался! — гудел Иоанникий. — Я с вами пойду!

— Кто же вас возьмет с собою?

— А кто же посмеет меня оставить?... Не возьмут, я и сам пойду!

— Куда же вы это пойдете? В какой колонне?

— Колонны тут ни при чем... Куда полк пойдет, туда и я!

— Командиру полка доложите в таком случае.

— А зачем это мне ему докладывать?

— Значит, вы дисциплины не знаете, батюшка!

— А вы меня не учите, — рычал Иоанникий.

— Бог с вами совсем, не мое дело... Только хоть потише говорите, пожалуйста!

Невдалеке от расположения первого батальона шли работы в траншее, полузасыпанной местами вследствие усиленной дневной канонады со стороны французов. Работами на этом участке руководил саперный прапорщик Бородатов: дня за два перед этим пришло, наконец, из Петербурга его производство.

Услышав знакомый уже ему густой рокочущий голос в стороне от себя, он пристальнее присмотрелся к темноте и разглядел гораздо повыше линии солдатских голов твердые очертания широкого черного клобука.

— Вот черт возьми! Опять тут этот пьяный монах! — сказал он брезгливо, обращаясь к стоявшему рядом Вите Зарубину. — Испортит

он нам все дело!

— Чем именно может он испортить? — спросил Витя.

— А как же? У него ведь не голос, а какая-то труба иерихонская! Послушайте, Зарубин, я бы на вашем месте взял на себя смелость доложить о нем генералу Хрулеву.

— Хорошо, что же... Я и доложу, пожалуй, — не без некоторой важности ответил Витя.

Вместе с двумя другими, только пехотными, юнкерами Витя был взят Хрулевым к себе в ординарцы и теперь был послан им передать небольшое приказание саперным офицерам.

— А когда думают начать наступление? — спросил его Бородатов.

— Да вот, когда зайдет луна... Я слышал, так говорили.

— Луна, кажется, не обещает этого так скоро... Она даже открывается, смотрите!

Действительно, луна, которая до этого была, казалось бы, очень добротнo задернута густыми тучами, теперь вдруг начала пробиваться сквозь них и на глазах у Вити и Бородатова засияла наполовину.

— Ну, в таком случае я уж не знаю, когда пойдем мы, — почти сконфузился Витя. — Только мне-то уж во всяком случае надо идти... Прощайте!

Эта луна!.. Ей не было никакого дела до того, что творилось там где-то, на маленьком клочке земли около Черного моря, а людям она неизменно мешала начинать ночные атаки и штурмы: колоть штыками и действовать прикладами, удобнее в сумраке.

В этот вечер ожидалось, что луна зайдет не раньше одиннадцати, но уже в начале девятого поднялась оживленная ружейная перестрелка впереди люнета: это французы предупредили Хрулева; они кинулись на русские ложементы и выбили из них стрелков. Тогда первому батальону камчатцев приказал Хрулев в свою очередь выбить из ложементов французов и идти дальше, а в поддержку первому батальону был пущен третий.

Так завязалось это дело, очень кровавое и памятное для русских и интервентов. Кроме Камчатского полка, в распоряжении Хрулева был Днепровский полк трехбатальонного состава, и командиру его, полковнику Радомскому, поручен был левый фланг атаки, как Голеву с

его камчатцами — правый. Батальон матросов поставлен был в резерве, чтобы после удачной атаки повернуть в сторону французов их же ложементы и засыпать траншеи.

Ровно в девять по сигнальной ракете начали наступать с двух сторон камчатцы и днепровцы. В русских ложементах хозяйничал в это время батальон зуавов. Его прикрытие встретило ротные колонны камчатцев залпами в упор. Этот штуцерный огонь был такой силы, что в две-три минуты начисто скошил передние ряды наступавших...

— Вот так строчит, проклятый! — удивлялись камчатцы, переступая через тела упавших или обходя их и снова строясь на ходу в тесные ряды.

Они шли ускоренным шагом и без выстрела; потом по команде бросились вперед, и зуавы бежали из ложементов, захваченных ранее, прямо в траншеи.

Но траншеи полны были французов, приготовленных в свою очередь для атаки именно в эту ночь Камчатского люнета. Траншеи опустели быстро; батальоны французов встретили натиск русских, и рукопашная схватка разгорелась при полном свете луны, дававшем редкую для ночного боя возможность четко отличать своих от чужих.

Гремели выстрелы из траншейных мортир и штуцеров, лязгали штыки о штыки, доисторически жутко поднимались и опускались на головы приклады...

— Allons nous! — кричали зуавы, порываясь вперед.

— Братцы! Алёну зовут!.. Урра! — кричали камчатцы, кидаясь на этих невысоких, но коренастых чернобородых людей в чалмах и фесках.

Нельзя сказать, чтобы корпус зуавов во французской армии был очень многочислен, но этот вид колониальных войск гораздо лучше, чем все другие войска интервентов, был приспособлен к войне в южной части Крыма и служил образцом для других корпусов французской армии.

Наподобие русских кавказских полков, полки зуавов закалили себя походами и боями в знойной гористой Алжирии, где получили свое боевое крещение и Сент-Арно, и Канробер, и Боске, и Бурбаки, и д'Орель, и д'Отмар, Эспинас, и Верже, и, наконец, Пелисье — цвет французского генералитета в лагере союзников. Кстати, в Алжирии был у них такой серьезный противник, как талантливый Абд-аль-

Кадер{75}.

Разбросанные мелкими отрядами по ущельям Атласа{76} зуавы (среди которых даже и в сороковых годах мало уже оставалось воинственных туземцев племени зуауа, давших им свое имя, а больше парижан отчаянной жизни, возлюбивших военные опасности) предоставлены были самим себе и поневоле должны были стать изобретательными не только в способе ведения войны под солнцем Африки, но и во всех мелочах своего обихода и даже костюма. Можно было смело сказать, что в Европе в те времена не было пешего войска, одетого так же легко и так удобно, как зуавы. Даже чалма оказалась очень полезной от солнцепека, так как имела способность хорошо закрывать не только голову, но и лицо, а материала в ней хватало при случае и на заплаты для панталон и жилета.

Так как в мелких отрядах, окруженных со всех сторон врагами, каждый человек не только на виду и на счету, но необходимо должен принести всему отряду столько пользы, на сколько способен, то из зуавов все становились кто каменщиком, кто кузнецом, кто землекопом, кто портным, кто сапожником, не говоря уже о том, что все они были искусные стрелки, так как все были озабочены постоянной мыслью той или другой дичиной скрасить свой скудный и однообразный солдатский обед: всякий может представить, как трудно снабжать съестными припасами разбросанные в горах отряды и как часто при таком положении вещей могли они рассчитывать только на свои силы и способности.

Каждый пост зуавов в горах и ущельях был в то же время в постоянной блокаде со стороны воинственных туземцев, не уступавших по своей предприимчивости и меткости своих пуль черкесам. Эта вечная опасность выковала из зуавов великолепных солдат, необыкновенно смелых, сметливых и твердых духом, а их способность к быстрым маршам видна уже из того, что им, пехотинцам, приходилось проходить по сто километров за тридцать шесть часов, причем на пути не бывало отсталых.

Духовые инструменты арабов и кабилов, введенные в полках зуавов, внесли в обиход их военной жизни оригинальную звучную музыку; в то же время неистощимая природная веселость парижан изобрела

целый арсенал метких словечек и речений, анекдотов и песен, резко отличавших зуавов от всех прочих французских солдат. Так в большом ходу между ними была песенка, на первый взгляд казавшаяся почти бессмысленной:

As-tu vu
La casquette,
La casquette?

As-tu vu
La casquette
Du Pere Bugeaud?{77}

Маршал Бюжо был покорителем Алжира, победителем Абд-аль-Кадера, с которым вел долгую борьбу, но он едва не погиб во время нечаянного ночного нападения на его лагерь крупного отряда регулярных войск противника. Во время происшедшей схватки, в которой пришлось участвовать ему лично и смертельно ранить двух напавших на него арабов, он потерял фуражку, которая своей оригинальностью вызывала остроты зуавов.

— Ты не видал моей фуражки? — обратился маршал к первому попавшемуся на глаза солдату, — и вот пошло по рядам:

— Фуражку! Фуражку маршала!

Найдена ли была эта фуражка, или нет, но на другой же день нашлись слова для нового марша, который трубили горнисты, и потом уж сам Бюжо нередко обращался к горнисту, чтобы трубил он марш .

Зуавы отличались тем, что совершенно неспособны были предаваться унынию, что бы с ними ни случилось, в какое бы тяжкое положение они ни попадали. Так бывало в Африке, на больших многонедельных походах по обледелым горным кручам и топким ущельям, так было и в Крыму в ноябрьскую бурю и позже, во время холодной для интервентов зимы: зуавы быстро приспосаблились к положениям самым скверным и на любые лишения отзывались веселой шуткой. В этом отношении и вся вообще французская армия старалась равняться по зуавам, резко выделяясь своей бодростью по сравнению с армией

английской, не говоря уже о турецкой, в которой царило сосредоточенное уныние.

Конечно, в полках зуавов, вербовавшихся из среды искателей приключений, нечего было и надеяться найти надежную строгую дисциплину вне строя. Зуавы питали большую привязанность к питейным домам, а также к собственности обитателей той местности, где приходилось им стоять лагерем. Впрочем, и заведомо казенному имуществу они тоже не давали спуска.

Однажды тот же маршал Бюжо захватил у восставших кабиллов стадо прекраснейших баранов. Он как знаток любовался этими животными. Утром на другой день стадо это должны были отправить по его приказу в тыл для военных надобностей, но ночью он из своей палатки услышал подозрительное тревожное блеяние. Заподозрив что-то неладное и выскочив в одной рубашке из палатки, он заметил среди стада фигуры своих солдат. Неодетый, но со шпагой в руке, он бросился с громкой руганью к стаду спасать казенное имущество, так как для него стало ясно, что зуавы резали и свеживали баранов. Заслышав очень знакомый им громовой голос «отца Бюжо», зуавы тут же рассыпались и исчезли в ночной темноте, но вместе с ними исчезли и недорезанные бараны, и туши зарезанных, и шкуры освеживанных. Наутро зуавы как ни в чем не бывало явились на перекличку, но на вопрос о судьбе казенных баранов отозвались лукавым молчанием. Пришлось маршалу на этом и закончить следствие по бараньему делу, и это был самый лучший выход из положения.

Вообще далеко не всякий офицер мог быть командиром в полках зуавов, и штаб-офицеры к зуавам назначались по особому и очень тщательному выбору: если начальник этих своеобразных солдат не имел, кроме очень твердого характера, еще и очень мягкого сердца, чтобы при случае посмотреть кое на что сквозь пальцы, он командовать ими не мог.

Зуавам единодушно приписывали газеты Франции и Англии честь победы интервентов над армией Меншикова на речке Алме и на Инкермане. «Как кошки, карабкались они на отвесные скалы неприступных позиций князя Меншикова у аула Бурлюк...», «Как барсы, прыгали они через инкерманские кусты, мчась на выручку

утомленным целодневной резней английским солдатам...» — так писали о них корреспонденты английских газет.

Вот на этих-то прославленных зуавов, из которых состояли передовые части двенадцатитысячного отряда корпуса Боске — отряда, приготовленного в свою очередь для нападения в эту же ночь на Зеленый Холм, шел без выстрела в ротных колоннах батальон рядового пехотного русского полка во главе с рядовым полковником Голевым, который до этого одиннадцать дней кряду бесменно приходил сюда руководить работами своих солдат по устройству траншей и установке орудий под ураганным огнем противника.

Голев вел свой третий батальон на поддержку первому. Истовый барабанный бой, с которым шли в атаку, скорее чувствовался, чем слышался всеми при общем гуле сражения, криках и выстрелах.

Следом за третьим батальоном, то и дело спотыкаясь то на трупы убитых, то на тела тяжело раненных, то оступаясь в предательские воронки, вырытые снарядами, спешил иеромонах Иоанникий, подбирая по-женски свою длинную рясу с не менее длинной епитрахилью.

Витя Зарубин, по совету Бородатова, доложил все-таки о нем Хрулеву, и сам же был послан вызвать ретивого и шумливого монаха к резерву. Иоанникий очень удивился и пытался даже ругнуть Витю, но все-таки пошел за ним, гудя на ходу, что он еще поучит и самого генерала, где именно в бою должно быть место священника полка. Однако до Хрулева он так и не дошел, обеспокоенный тем, что первый батальон двинулся уже в атаку, что там впереди кипит и гремит бой и что сам полковой командир повел третий батальон на помощь первому.

Как раз мимо третьего батальона и пришлось проходить ему вслед за Витей, когда вдруг забили барабанщики и пошли отбивать шаг рота за ротой.

— Постой, ты!.. Куда это они, постой! — дернул он за рукав Витю.

— Куда?.. Передвигаются, — стараясь быть важным, ответил Витя, который и сам не знал, куда передвигались камчатцы.

— Как это «передвигаются»?

— Очень просто... Идемте же, батюшка, генерал вас ждет.

— Подождет, ничего!.. Эка штука — «ждет»!..

Промаршировала мимо Иоанникия двенадцатая рота, которую узнал он по знакомому ротному командиру, — и вот, в недоумении сделав сам десятка два шагов вслед за юнкером, ординарцем Хрулева, монах круто повернул назад, вдогонку за двенадцатой ротой, а Витя этого не заметил.

Когда же обернулся он и увидел, что около него нет монаха, то вскрикнул от досады и обиды:

— Вот черт!.. Эй!.. Ба-тюш-ка-а!

Пробегали мимо солдаты, раздавались чьи-то командные голоса, но иеромонах не отзывался. Конечно, Витя сообразил сразу, что он направился назад, за камчатцами, но если упустить его, это будет, значит, не выполнить приказ Хрулева.

Вите ничего не оставалось делать, как бежать назад и уговорить беспокойного монаха. Однако, как ни ярко светила луна, все-таки трудно было безошибочно взять направление...

Вот он уже выбрался за бруствер люнета... Если бы кто из начальства, встретясь, вздумал его остановить, то ведь он был ординарец самого Хрулева и стремился выполнить его приказание.

Там, впереди, стоял сплошной гул и стон свалки... Часто блистали и гремели орудийные выстрелы, обдававшие камчатцев картечью.

Вот раскатилось взятое в высших тонах «ура», и одновременно показалось, что земля задрожала от топота тысячи ног: это, конечно, бросились в бой роты третьего батальона.

Витя уже не шел вперед — не мог идти, — он бежал. У него в руках было ружье со штыком, то самое ружье, которое было с ним и во время первой вылазки, когда был он ранен. Теперь гремела вторая... И вздернутый всей обстановкой близкой и жаркой схватки, он забыл даже, что бежит за строптивым, не признающим дисциплины монахом, который позволил себе такую дерзкую «самовольную отлучку».

Но монах напомнил о себе сам. Совершенно неожиданно вдруг, в стороне от Вити, но гораздо ближе к линии боя, чем был он, заколыхалось могучее, перекрывшее все звуки схватки пение молитвы:

Спаси, го-осподи, лю-ди твоя-я

И благослови достоя-я-я-ние твое-е...

Это «я-я-я», звучавшее, как полногласное «а-а», буквально потрясало воздух кругом, как канонада. Витя сказал самому себе радостно: «Вон он где, этот монах!» — и бросился в ту сторону.

II

Ночной рукопашный бой разгорался с каждой минутой сильнее и упорней. В дело вводились с обеих сторон все новые и новые части. Света луны оказалось вполне достаточно, чтобы части эти шли туда, куда им было указано, и делали потом то, что диктовал жестокий закон штыковых атак.

Хрулев на своем белом коне, в папахе и бурке стоял около левого фаса люнета и отсюда, как от центрального места, деятельно и уверенно руководил боем, то и дело рассылая с приказаниями то конных адъютантов, то ординарцев, то просто казаков конвоя, всегда готовых скакать куда угодно.

Он поволновался немного только вначале, когда ему донесли, что, несмотря на условленный сигнал — барабанную в шесть барабанов дробь, — команды охотников капитана 2-го ранга Будищева и лейтенанта Бирюлева не двинулись с места. Потом выяснилось, что сигнал этот просто не был слышан за начавшейся как раз в это время артиллерийской стрельбой. С небольшим опозданием охотники ушли в сторону английских батарей, и Хрулев успокоился. Команды Будищева и Бирюлева были довольно внушительны: у первого — четыре роты греков-волонтеров, полтораста матросов и двести минцев; у второго — около пятисот человек охотцев, волынцев и моряков.

Когда третий батальон камчатцев ошеломительным натиском опрокинул зуавов, потеснивших было обескровленный штуцерными залпами и картечью первый батальон, матросы, назначенные для земляных работ под руководством саперных офицеров Тидебеля и Бородатова, тут же начали одни приводить в прежний вид русские ложементы, другие — засыпали отбитые французские траншеи... Однако из других, дальних, траншей на помощь зуавам шли новые колонны, и Голеву, чтобы не отступать перед ними, пришлось вызвать из резерва еще один свой батальон, потом и батальон волынцев. С

другой стороны полковник Радомский, успешно напавший на правый фланг французской параллели с одним батальоном своих днепровцев, скоро вынужден был ввести в дело один за другим и два остальных.

Силы французов, оказалось, превышали более чем вдвое небольшие силы русских, но Хрулев пустил в обход левого фланга противника две роты Углицкого полка и две — волынцев по дну глубокой Доковой балки, а полковник Голев остальных волынцев направил в обход правого фланга. Однако и тех и других предупредил часто ходивший на вылазки лейтенант Завалишин.

Он был с командой матросов-штуцерников в отряде Будищева. Команда его была небольшая, всего в шесть — десять человек. Назначение всего отряда было — действие против англичан, но Завалишин просто не успел еще присоединиться к колонне Будищева. Он шел только на соединение с нею и именно по берегу Доковой балки, но изменил направление ввиду уже начавшегося преждевременно жаркого боя и вышел не только во фланг, но даже и в тыл французам, по которым на свой страх и риск и приказал своим матросам открыть частый огонь.

Это было так неожиданно для французов, что весь левый фланг их пустился в бегство, и вся первая параллель, из которой были уже вытеснены камчатцы и днепровцы, снова была занята ими, причем прислуга батарей была перебита, орудия заклепаны и опрокинуты; точно так же опрокинуты были в траншеи и рвы все туры, набитые землей, и земляные мешки, и солдаты неудержимо рвались преследовать отступающих зуавов... Это был момент блестящей победы хрулевского отряда.

Однако и отряды Будищева и Бирюлева с подобным же успехом действовали в траншеях англичан против третьего бастиона. Как бывало обычно, вылазка русских застала англичан врасплох; их аванпосты даже приняли греков-волонтеров в их своеобразных восточных костюмах за зуавов и пропустили их беспрепятственно к середине третьей своей параллели, которой командовал майор Гордон.

Проводником у греков был мичман Макшеев с тридцатью матросами, которые, овладев батареей осадных орудий, тут же заклепали все

орудия и перебили прислугу. Сам Гордон был ранен двумя пулями, его помощники — капитаны Броун и Викар — убиты.

В ту же параллель, но только с левого фланга, вышла и другая половина отряда Будищева в двести шестьдесят человек, которыми командовал лейтенант Астахов. Эти выбили остальную часть прикрытия параллели и захватили в плен подполковника и несколько рядовых.

Бирюлев захватил свою вторую параллель, где тоже нанесено было много потерь англичанам, заклепаны мортиры, захвачен в плен инженер-капитан Монтегю...

Успех этой ночи был бы полный, если бы у Хрулева оставалось еще в резерве хотя бы столько же батальонов, сколько их было введено в бой, но им брошены уже были в схватку все силы, между тем как Боске направлял из своего корпуса к месту разгрома своих передовых полков новые полки.

Хрулев посылал адъютанта за адъютантом, чтобы били отбой и отступали и без того уже зарвавшиеся батальоны камчатцев и днепровцев, но солдаты не верили, они говорили:

— Не таковский генерал Хрулев, чтобы приказывал отступать! Держись, братцы, это не иначе, как измена!

Горнисты трубили отбой, но солдаты говорили, слышав сигналы:

— Это — одна видимость, будто наши горнисты? Что же, или французы не умеют по-нашему дудеть? Вполне в состоянии!

Тогда Хрулев вспомнил об иеромонахе и послал передать ему свой приказ, чтобы он внушил солдатам, что отступать надо и время, что этого действительно требует от них он, генерал Хрулев.

Ординарец-юнкер Чекеруль-Куш был послан за этим прямо туда, в траншеи французов, потому что «спаси, господи, люди твоя» слышали не только на Камчатке, но и на Малаховом, и сам Хрулев, который славился своею исключительно звонкой командой, удивился, что может быть у человека такой исполинский голос, как у этого монаха.

Однако не прошло и несколько минут, как сам Иоанникий в сопровождении Вити огромным черным видением заколыхался перед Хрулевым.

— Ваше превосходительство, честь имею явиться, юнкер Зарубин! —

отрапортовал Витя, доставив наконец-то монаха к командиру отряда. Но монах, клобук которого съехал набок, а левый рукав рясы висел ключьями, заметно потный и даже как будто бледный от быстрой ходьбы, возгласил тут же сам, не дав ничего сказать Хрулеву, сидевшему на барабане:

— Ваше превосходительство, резерву нам дайте, а то как бы не вышибли нас из третьей траншеи!

— Резерва у меня нет, — улыбнулся его фигуре, голосу и неожиданной в устах монаха просьбе Хрулев.

— Как же так нет? — неодобрительно отозвался монах.

— Вот нет, и все... И удерживать траншеи французские нам незачем, — добродушно сказал Хрулев и добавил: — А что с вашей рясой, батюшка? Порвали где-то?

— Ряса что — пустяк! А вот извольте от меня три штуцера французских получить, — метнулся несколько назад монах и, подняв с земли положенные им штуцеры, поднес их Хрулеву.

— Час от часу не легче! — усмехнулся Хрулев. — Где же вы их взяли?

— Эти два вырвал сам у зуавов из рук, спас их тем от греха, а вот третий, — это уж, грешен, взял у зуава убитого... Этим вот самым штыком рясу он мне пропорол, зуав!

— Вот как! Не ранены?

— Бог спас! Епитрахиль на мне: ее он пробить не мог... А на месте положил зуава этого вот этот солдатик шустрый, — показал монах на Витю.

— Вы? — обратился к Вите Хрулев.

— Так точно, ваше превосходительство!

— Чем же вы его и как?

— Штыком в бок, ваше превосходительство!

— Молодчина!

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Вот что, батюшка... Положение наше мне известно, — обратился к монаху Хрулев. — Большая убыль офицеров... Солдаты наши не хотят уходить из занятых траншей, а уходить надо. Сейчас же идите и передайте им мой приказ отступать. Резерва нет, удержать занятое мы не сможем, когда на нас напрут большой силой, — значит, отступать.

Поняли?

— Слушаю, ваше превосходительство! — совсем по-строевому ответил монах.

— Кстати, как ваше имя, батюшка?

— Аника-воин!{78} — сказал монах и тут же отошел исполнять приказ генерала, как бы опасаясь еще каких-либо расспросов, отнимающих нужное время.

Витя обернулся к нему, очень красноречиво всем своим телом показывая, что хотел бы броситься вслед за ним, и Хрулев это заметил.

— Юнкер Зарубин, — сказал он, — идите с ним вместе, а то я боюсь, что его придется еще раз спасти от напрасной смерти!

— Есть, ваше превосходительство!

И Витя со всех ног побежал за Аникой-воином.

III

Что Аника был действительно воин, в этом Витя уже не сомневался после того, что произошло перед его глазами.

Когда монах допел: «И твое-е сохраня-я-яй крестом твоим жи-и-тельство-о!», и Витя, добежав, шагал за ним следом, он выхватил из кармана рясы свой крест накладного серебра и ринулся в горячую схватку с таким широкогорлым «ура-а-а», какого не накричать было и целому батальону солдат.

Это был, может быть, самый сокрушительный момент боя. Камчатцы устремились за своим горластым полковым попом неудержимо и разметали зуавов... Однако, отскочив назад прославленными в западных газетах прыжками барсов, зуавы, как это было принято у них, открыли частую штуцерную пальбу по наступающим, и одна из пуль случайно попала как раз в середину креста, который все держал над головой в вытянутой руке монах. Вся верхняя часть креста отлетела отбитая, в руке же осталось от креста только то, что захватили и крепко зажали пальцы, да боль от контузии.

— Ну вот!.. Я ведь говорил, что крест этот дутый! — свирепо выкрикнул в лицо Вите монах и швырнул обломок в ряд наступавших снова поддержанных резервом зуавов, как ребяташки бросают свои

битки в длинный кон бабок.

Это было сделано очень кстати, — он освободил руки за момент до того, как на него кинулось двое зуавов. Но хотя кинулось двое, второй, как это часто бывает в тесноте, только помешал первому, и безоружный, хотя и огромного роста, заставлявшего предполагать в нем большую природную силу, монах, увернувшись от штыка, сшиб первого зуава ударом кулака в голову, проворно выхватил у него штуцер, проворно, как и не ожидал Витя, отбил им удар второго, кроме того, пинком ударив его в живот, и, когда опустил и этот второй наземь, выхватил и у него штуцер.

Так что два штуцера были его вполне законной боевой добычей, это мог подтвердить Витя. Третий же из принесенных лично монахом по праву должен был бы принадлежать Вите, но он не сумел бы последовательно и ясно передать, как это случилось, что около монаха появился вдруг еще один зуав.

Можно было только догадываться, что этот третий был сбит с ног общим натиском камчатцев, несколько примят, но не ранен, и теперь поднялся и кинулся на ближайшего к нему, необыкновенного по фигуре, одежде и длинной бороде, но кинулся уже тогда, когда кругом были русские солдаты.

Монах и сам не заметил, что был на волос от смерти; это заметил только Витя, и, не дав зуаву повторить удара после того, как штык запутался в рукаве рясы и складках епитрахили, сам ударил его в бок, скрипнув зубами.

Штык ушел в мягкое. Раненый упал, коротко застонав, лицом в землю и больше уж не поднялся. Штуцер же его действительно взял монах, хозяйственно связал все три бечевкой, которая нашлась в одном из его бездонных карманов, и взвалил их на плечо, как носят ружья солдаты по команде «вольно».

После того как камчатцы и днепровцы овладели всею первой параллелью французов, они не остановились тут, а «прочесали» вторую, которой овладели с гораздо меньшим трудом, потом третью...

Они хозяйничали в занятых траншеях, как у себя дома, пользуясь последним светом уже заходившей луны. Витя слышал, что командир днепровцев, полковник Радомский, был тяжело ранен и унесен в тыл и

что много офицеров, кроме него, убито и ранено в обоих полках, так что солдаты не чувствовали над собою начальства. Теперь было уже за полночь и темно, хотя и не кромешно; французы же, пользуясь этой темнотою, могли, конечно, подойти в больших силах, обойти зарвавшихся русских, отрезать их и забрать в плен.

Это понимал Витя и этим был горячо озабочен; пока же ему навстречу оттуда вели небольшими партиями пленных зуавов, и Витя слышал, как в одной такой партии они возбужденно говорили между собою:

— Эти русские — звери: они убивают пленных!

— Да, да, с нами все кончено! Мы будем замучены!

— Зачем же в таком случае мы идем? Сядем здесь, пусть нас застрелят!

Конвойные солдаты не понимали их и не могли разубедить, Вите же и хотелось это сделать, но некогда было подходить к ним: впору было вприпрыжку поспевать за монахом, делавшим двухаршинные шаги.

Но несли на носилках, на ружьях, покрытых шинелями тяжело раненных, и около одних таких носилок Витя задержался на момент.

Он спросил солдат:

— Кого несете, братцы?

— Саперного прапорщика, — ответили ему.

Саперный прапорщик был только один тут — Бородатов. Витя не мог не кинуться к носилкам.

— Вы? Куда ранены? — наклонился над лицом его Витя.

— А-а! — узнал его Бородатов. — Ничего... Пулей в ногу... Только что сам идти не могу, — бодро по обыкновению ответил сапер, всегда удивлявший Витю своим деловитым спокойствием, но один из солдат-санитаров успел шепнуть Вите:

— Дал бы бог донести живым: крови много вышло!

— Э-эх! — жалостливо протянул Витя, нашел руку Бородатова, пожал ее бережно и побежал догонять монаха.

Дошли, наконец, натываясь поминутно на трупы, ямы и камни, до первой параллели французов, в которой весело переговаривались и смеялись, вспоминая эпизоды боя, русские солдаты, и Витя, помня приказ Хрулева, решил напомнить монаху:

— Прикажете же им, батюшка, отступить: они вас послушают.

— Без тебя знаю! Учишь меня тут! — зарычал монах, но потом он двинулся вдоль параллели, в прозрачной темноте казавшийся черным великаном из области призраков, и, наклоняясь то здесь, то там, рокотал в четверть голоса:

— Братцы! Приказано мне передать вам, чтобы отступали потихоньку... Резерва не будет, потому что его и нету... Отступить!.. Только всех своих раненых вынести, ни одной души православной не оставлять... слышишь?

— Ну, уж раз наш батюшка говорит, значит правда... Пошли отступать, ребята! — передавали дальше и дальше по траншее камчатцы своим и днепровцам.

Солдаты выходили из апрошей неохотно, недоуменно спрашивая друг друга, как же это случилось так неудобно, что нет резерва и потому приходится бросать то, что захвачено немалой кровью. Они были правы, конечно. Достаточно было бы дать в распоряжение Хрулева в эту ночь еще шесть-семь батальонов, и все три параллели французов можно бы было закрепить за собою надолго и этим далеко от Малахова кургана и Корабельной отбросить корпус Боске. Но в такой блестящий успех вылазки не верили ни Остен-Сакен, ни Горчаков; последний главным образом потому, что вылазка эта была задумана и решена не им; она казалась ему подготовленной неосновательно; сам он не так обдумывал военные операции — тят да ляп: на обдумывание их у него отводились недели...

Солдаты уходили из французских траншей тяжело нагруженные тем, чем: кто штуцерами, кто шанцевым инструментом, кто и баклажками с ромом, но больше всего все-таки своими ранеными.

Их отыскивали в темноте, высекая из кремня, который был в кисете у каждого солдата, скупые, мгновенные искры огнивом, или пользуясь для этого светящимися снарядами, которые иногда пускали французы, чтобы осветить потерянную ими местность.

Стоило только крикнуть кому из солдат: «Там еще, братцы, один наш раненый остался, я знаю!» — и сразу несколько человек отделялись от построившейся уже для отступления роты и бросались в оставленные траншеи разыскивать этого раненого.

Так Витя услышал и крик оттуда, со стороны траншеи, где отыскивали

раненых:

— Вот юнкирь никак наш... не то уж убитый! Ребята! У кого кремь-кресало хорошие? Дай сюда свету чуть-чуть!

Витя бросился на тот крик и без хорошего кресала узнал, нагнувшись, раненого.

— Чекеруль-Куш! — вскрикнул он, пораженный.

Это был действительно ординарец Чекеруль-Куш, бесшабашно веселый малый, только что так недавно сыпавший шутками и совсем уж недавно, может быть с полчаса назад, не больше, посланный Хрулевым искать монаха.

Витя пощупал его сердце, оно еще билось, но слабо; голова его лежала в луже крови: он был ранен в голову навылет; такая рана не могла не быть смертельной.

Французы стреляли и теперь. Они были близко. И как только в русских рядах горнисты настойчиво затрубили отступление, горнисты зуавов начали трубить атаку.

Батальон матросов, назначенный исключительно для саперных работ, успел уже и повернуть свои ложементы снова в сторону французов и французские траншеи завалить, где как и насколько было это возможно. Цель вылазки была достигнута. Команды охотников Будищева и Бирюлева вернулись уже на свой третий бастион. Наконец, и Хрулев увидел первые роты камчатцев и днепровцев уже в границах люнета. Но штыковой бой еще вспыхивал кое-где там, откуда медленно сходились колонны русских солдат: чуть только начинали наседавать на них зуавы, они без команд оборачивались и кидались в штыки и продолжали отступать не раньше, как подобрав своих раненых.

Только к двум часам ночи полковник Голев, обходя роты своих камчатцев, а также и волынцев, попавших в этом деле под его команду, убедился, что роты налицо все; то же было и у днепровцев. Они, правда, весьма поредели, эти роты, — одних только офицеров не досчитались больше двадцати человек, — но люди в них были приподнято возбуждены.

И когда Хрулев на своем белом коне вздумал объехать их ряды, поздравляя их по полкам с победой над французами, они с сознанием

действительного своего превосходства над неприятелем кричали в ответ не «рады стараться», а «пок-корнейше благодарим, ваше превосходительство!».

А раненых несли и несли на носилках и на ружьях десятками, сотнями на перевязочный пункт на Корабельной...

Ответного нападения французов ожидали все-таки до утра, но на это они не отважились; они ограничились только орудийной пальбой, и то вялой и слабой, так как ближайшие батареи их были приведены в негодность; то же было и у англичан против третьего бастиона. Только к утру Хрулев убедился в том, что французам совсем не до ответных наступлений, что они понесли в эту ночь такой урон, которого не забудут долго; поэтому к утру он оставил на люнете только обычное прикрытие. Утром же подсчитали и пленных французов, их оказалось около ста человек, из них четыре офицера. Бегло опрошенные, они показали, что для захвата Камчатского люнета в эту ночь было выдвинуто в передовую линию шесть тысяч человек. Кроме того, три тысячи стояли в ближайшем резерве, между ними были и части, назначенные для усиленных саперных работ, чтобы утром батарея с Зеленого Холма могла уже бить по Корабельной стороне и по флоту, стоявшему в бухте...

Этот смелый замысел генерала Боске удачным контрударом немногих русских батальонов был отодвинут в очень долгий ящик.

IV

Перевязочный пункт на Корабельной стороне, которым ведал киевский профессор хирург Гюббенет, приготовился к приему раненых: корпия, бинты, кипящие самовары, операционные столы, врачи, фельдшера, сестры милосердия, наконец и кадушки для тех рук и ног, которые придется в эту ночь отпилить и отрезать... Но раненых начали нести гораздо раньше, чем предполагалось, — с девяти часов; и потом все несли, несли, несли без конца...

Правда, эти раненые были не совсем обычного вида. Хотя головы, или ноги, или груди их были разбиты и в крови, но бледные и покрытые пороховою копотью лица их были спокойны, или строги, или важны, или даже отмечены горделивым каким-то самодовольством: это были

лица раненых победителей. Каждый из них, доставленных сюда товарищами на носилках, как бы хотел сказать: «Я-то, конечно, ранен, но зато врага своего и вашего тоже, и не одного, пожалуй, я убил!..»

— Что за люди! Что за изумительные солдаты! — бормотал, осматривая их, Гюббенет. — Да ведь с такими солдатами можно завоевать весь мир!..

Но раненых все несли, и не только своих, но и французов, подобранных заодно со своими иными жалостливыми солдатами. Раненые заняли все свободные койки, раненые тесно лежали всюду на полу большой палаты, в коридоре, в сенях... Наконец, Гюббенет вынужден был распорядиться, чтобы их переправляли в город, в первый перевязочный пункт, который всего за несколько дней перед тем перебрался из инженерного дома около Графской пристани снова в Благородное собрание, только теперь уже вымытое, вычищенное, проветренное по приказу Пирогова.

И раненых начали перевозить через бухту туда. Там же дежурили в эту ночь врачи Обермиллер, Тарасов и другие, был и сам Пирогов.

В солдатской шинели, расстегнутой на груди, так что было видно красную теплую фуфайку, и в фуражке, чтобы не было холодно его голой голове, он наблюдал за всем кругом сосредоточенно-молчаливо своими маленькими и глубоко запавшими серыми глазами. Здесь также кипели самовары, вздымались горы корпии и бинтов, и сестры готовили питье для раненых из клюквенного морса.

Среди сестер, приезжих, петербургских, несколько медлительных и временами важных, здесь были и местные, севастопольские, первопризывницы: матросская сирота Даша и Варя Зарубина — обе легкие, ловкие, летучие, с голубым сиянием девичьих глаз.

Только что оправившись от перенесенного тифа, Варя пришла снова на первый перевязочный пункт с тем обновленным увлечением, с каким насильно выбитые из любимой работы люди принимаются за нее опять, с тою всепобеждающей энергией, которая свойственна только молодости.

Хозяйственной частью перевязочного пункта ведала теперь сестра Травина Александра Ивановна, из петербургских, из второго отряда

сестер. Заметно было, что стало при ней гораздо больше порядка, чем прежде. Из приезжих сестер, работавших на первом перевязочном, заметнее других была Бакунина, о которой Варя знала, что она двоюродная сестра известного анархиста, дочь петербургского губернатора и внука адмирала Голенищева-Кутузова. Это была высокая немолодая уже девица, с лицом скорее мужским, чем женским, некрасивым, но умным и волевым.

Восемь врачей и восемь фельдшеров собрались здесь в эту ночь. Чай раненым, требующим немедленной операции, давали с вином, коньяком или водкой, чтобы поднять деятельность сердца перед тем, как прибегнуть к хлороформу. Но бывало и так, что раненые, лежа на операционном столе, засыпали медленно, плохо, с большим трудом; в эти длинные минуты они почему то ругались громко, самозабвенно...

Неудачное для отряда Боске дело перед Камчатским люнетом, по-видимому, раздражило и Канробера, и Раглана, и командира наблюдательного корпуса

Пелисье.

После полуночи началась жестокая бомбардировка городской стороны. Как потом выяснилось, было брошено в город свыше двух тысяч снарядов и полтораста ракет. Одна из ракет зажгла дом на горе, рядом с библиотекой, и яркое пламя пожара озаряло все залы и кабинеты бывшего Благородного собрания будоражащим, тревожным светом.

Этот яркий и ровный багровый свет очень часто перебивался, точно молниями, еще более яркими изжелта-синими вспышками, за которыми, как за подлинными молниями, следовал волнами расходящийся гром: это были ответные выстрелы с четвертого, пятого, шестого бастионов...

Когда Варя выбегала иногда на площадку парадной лестницы сделать хоть несколько глотков свежего воздуха, она слышала и видела, как проходили мимо спешащие куда-то команды солдат и матросов, и это еще выразительней внушало ей, что она переживает исключительную ночь.

Было большое беспокойство и за своих... Что-то делается теперь в их домике на Малой Офицерской?.. И что Витя там, на своем Малаховом,

где недавно убит был Истомин и откуда несут столько раненых теперь?.. Чтобы не думать об этом, она поспешно возвращалась в большой зал.

Вот принесли одного за другим трех тяжело раненных французов — офицера и двух чернобородых зуавов. Вот их осматривает сам Николай Иванович и говорит об одном из них: «В Гушин дом!..» Зуав смотрит на старого профессора в странной, должно быть на его взгляд, солдатской шинели и в фуражке, из-под которой выбиваются у висков седые клочки волос, и не понимает, конечно, что «Гушин дом» значит «безнадежен». Он, быть может, именно потому-то и надеется остаться в живых, что русские солдаты тащили его столько времени на носилках до одного перевязочного пункта, потом позаботились переправить его на катере через бухту, потом опять тащили на носилках... Неужели же все это только затем, чтобы зачислить его в безнадежные?

Двум другим — офицеру и солдату — предстоят ампутации ног, но у солдата нога перебита выше колена, а Варя знает уже, что такие операции считаются серьезнейшими, так как после них почему-то редко кто выживает. И ей хочется верить, что этот очень крепкий на вид широкоплечий зуав выживет.

Когда внесли в общий зал прапорщика Бородатова, Варя с первого взгляда не узнала его, хотя он до войны часто бывал у них в доме, приходя к Дебу. Вышло даже так, что он узнал ее первый, и только в ответ на его пристальный, лихорадочно блестящий взгляд она присмотрелась к нему внимательно и потом улыбнулась ему тою сложною улыбкой, в которой была как бы обязательная радость, что они, знакомые друг другу, увиделись, и сожаление, что увиделись при такой обстановке, и сочувствие его страданию от раны, и вместе с тем кое-что ободряющее, и не столько сестринское, сколько материнское, дескать: «Ничего! У нас столько всяких средств, столько бинтов, и корпии, и лекарств, столько умелых хирургов, и даже сам Пирогов... Мы вылечим! Будь спокоен!»

Но, подойдя к нему вместе с другими, она спросила его встревоженно: — Что, что у вас? Куда?

— Нога, — ответил он, глядя только на нее, и так тихо, что только она

и уловила его ответ по движению губ.

У нее почему-то сразу упало сердце. Она живо представила себе его тонкую ногу, — он был всегда худощав и на лицо и по фигуре, — ногу, разбитую ядром или большим осколком около бедра, как у того зуава, которого только что приказано было Пироговым отправить в дом Гущина, чтобы вид его смерти не лишал бодрости остальных раненых. Зуава с перебитой бедренной костью русские солдаты тащили, конечно, напрасно, но своего прапорщика они должны были принести, и Варя почему-то благодарна была им, безвестным, за то, что не оставили его, хотя и безнадежного, умирать в поле.

Она знала о Бородатове, что он — разжалованный за что-то неважное поручик, но видела его раньше всего только унтер-офицером, чем-то вроде полкового писаря, и уже одно это никак не могло особенно расположить ее к нему. Кроме того, у него всегда была такая слишком серьезная на ее, девочки, взгляд внешность; это не заставляло ее никогда раньше думать о нем с какою-нибудь заметной нежностью... Но вот теперь она почему-то с исключительной напряженностью глядела на старика в солдатской шинели над красной фуфайкой, всеведущего Пирогова, когда он подошел к Бородатову.

«Гущин дом...», «Гущин дом...» — звенело в голове у Вари, сколько она ни силилась отгонять это. Вот фельдшер Хоменко привычно разрезал вдоль по голенищу сапог на правой ноге, закатал шаровары... Она отвернулась. В голове продолжало звенеть: «Гущин дом...», «Гущин дом...» А слух был напряжен: Пирогов давал свои заключения почти мгновенно, настолько уж привык он ко всяким ранам на человеческом теле...

Варя ждала пять, десять, двадцать мгновений... Наконец, повернулась к нему и поглядела на него в упор. Раны ей не было видно: около Пирогова теснились врачи, которые у него учились, а Пирогов что-то все щупал своими многоопытными пальцами... Наконец, он произнес многозначительно:

— Да-а...

«Гущин дом...», «Гущин дом...» — зазвенело в Варе безостановочно и неотбойно... Но Пирогов продолжал после паузы:

— Эту ногу можно бы сохранить... Ампутации не нужно... наложить

гипсовую повязку... Раненый очень слаб — большая потеря крови, но прогноз вполне благоприятный...

Варя и сама не могла бы объяснить себе, почему ее вдруг охватила такая бурная радость, когда она услышала эти хриповатые неторопливые слова... Она и не на прапорщика Бородатова смотрела при этом, а только на этого чудесного старика с седыми пучками волос, выбившихся из-под фуражки. Ей хотелось, как совсем маленькой девочке, обвить его шею руками и целовать в морщинистые щеки... И только когда отошел он, а вместе с ним и врачи, она нагнулась к лицу Бородатова и проговорила ему сияя:

— Вот видите! Гипсовая повязка, и все! И нога будет цела, цела!.. Вы слышите?

Он попытался было улыбнуться ей в ответ, но только чуть-чуть шевельнул губами и тут же закрыл глаза.

V

На второй день после ночного боя противники, с небывалым до того в истории человечества количеством средств истребления, уменьем, упорством и хладнокровием уничтожавшие друг друга в течение полугода, получили, наконец, возможность посмотреть друг на друга в совершенно мирной обстановке: в полдень 12/24 марта объявлено было перемирие для уборки тел убитых солдат и офицеров и с обеих сторон были подняты белые флаги и заиграли рожки.

Распорядиться уборкой тел были назначены: с русской стороны генерал Заливкин, с французской — командир 5-й дивизии корпуса Боске старый и угрюмый генерал Брюне.

Это была странная радость, с какою устремились друг к другу вчерашние лютые враги! Все брустверы укреплений с той и с другой стороны, все сколько-нибудь возвышенные и потому наиболее опасные и запретные во время перестрелки места были теперь усеяны солдатами, смотревшими во все глаза.

Цепью русских солдат с одной стороны и французских — с другой обозначена была демаркационная линия, и уборка тел началась. Для этого было приготовлено все, что нужно: люди с носилками, чтобы перетаскивать трупы на свою линию, и фуры, запряженные лошадьми

или мулами, чтобы их вывезти дальше, в тыл, на кладбище... Людям, которые стали врагами только по воле тех, кого нельзя увидеть на полях сражений, может быть, и хотелось бы поговорить о чем-нибудь серьезном и важном для них, но такие перемирия, как было это, всегда несколько похожи на свидания с арестантами в тюрьмах. И с той и с другой стороны были не одни только Заливкин и Брюне. За «порядком» перемирия следило много зорких глаз, в разговоры вслушивалось много чутких ушей...

Говорить можно было только о полнейших пустяках в рамке так называемых светских приличий; такие разговоры и вели между собой офицеры обеих армий.

Солдаты совсем не могли разговаривать по незнанию языка, но мирная встреча их проходила гораздо более весело и оживленно. Простые люди обоих враждебных лагерей сразу же переходили на общий язык жестов, угощая друг друга: русские — водкой из своих манерок, французы — ромом из аккуратных кругленьких фляжек.

Для этого русские наливали водки в крышки манерок и, чтобы показать этим «мусью» с чудными черными эспаньолками, что предлагают им не какого-нибудь яда, отхлебывали немного сами и причмокивали языками и только потом уж протягивали эти крышки дружелюбнейшим образом французам.

Французы пробовали, но тут же отфыркивались, морщились, брались руками за горло, мотали ошарашенно головами, бормотали что-то... Видя, что русская водка казалась французам очень крепкой, русские солдаты хохотали, что называется, до упаду... Но вот к ним в свою очередь попадали фляжки с ромом. Тогда, они, соблюдая этикет, тщательно вытирали усы рукавами своих шинелей, очень осторожно прикладывались к горлышку, сразу же закрывали глаза от удовольствия, как делают, говорят, соловьи во время пения, и старались вытянуть всю фляжку до дна.

— Посуду-то, посуду-то ему оставь, не глотай! — выкрикивал, видя это, присяжный ротный остряк, и новый взрыв хохота встречал это замечание.

Но, кроме водки, у каждого под руками имелось и еще одно, чем можно было угощать взаимно: табак, и французы протягивали русским

свои сигареты из душистого черного алжирского табаку, русские же несколько конфузливо, — так как тут уж превосходство было явно не на их стороне, — кручонки из махорки.

Иные любопытные солдатики пытались все-таки, пользуясь столь редкостным случаем, расспросить французов, что это за «Алена», которую зовут они себе на помощь во время атак, но из этих расспросов так ничего и не вышло по непонятливости французов. Зато развеселили всех появившиеся большою группой на французской стороне шотландцы.

Их юбочники и голые красные колени встречены были дружным смехом. Кто-то бывалый объяснил другим, что это — англичане, и тут же присяжный ротный остряк бросил в толпу меткое словечко:

— Ну, этим беднягам, должно, у королевы Виктории материи на штаны не хватило!

Хлопнули друг друга в толпе по спинам, откинули головы назад и залились хохотом...

Но с шотландцами пришел их офицер, который бесцеремонно начал разглядывать в подзорную трубу русские укрепления на Зеленом Холме. Раздались возмущенные восклицания со стороны русских, и сам генерал Брюне счел нужным подойти к англичанину с трубой и потребовать, чтобы трубу свою он спрятал.

Свыше трехсот шестидесяти убитых русских солдат было вынесено на носилках, уложено на подводы и вывезено на Павловский мысок, чтобы потом Харон перевез их на барже через рейд на Братское кладбище. Не меньше, если не больше, отправили в тыл своих убитых и французы.

Но вот уборка кончилась... Кстати, наступали и сумерки. Парламентеры подали знак каждый своей стороне, что перемирие окончилось. Поспешно начали расходиться толпы офицеров и солдат и прятаться снова в свои блиндажи и траншеи... Наконец, упали и белые флаги, и... с французской стороны загрохотали первые выстрелы новой канонады.

I

Как раз в день присяги новому царю Александру, то есть 20 февраля, в Москве случилось событие, очень всполошившее всех москвичей. Нежданно-негаданно упал с колокольни Ивана Великого в Кремле колокол Реут, а по-народному «Ревун», в две тысячи пудов весом, пробив три свода и два пола и задавив несколько человек насмерть, а несколько тяжело ранив.

Колокол этот был отлит еще при царе Михаиле и падал уже в 1812 году. Тогда, сильно дрогнув от взрыва, он сорвал себе одно ухо (за что народ прозвал его корноухим), но ухо это заменили потом толстым железом, пропущенным в его верхнюю часть, нарочно просверленную для этой цели. Железо ли перержавело за сорок лет, или были другие причины, только колокол ринулся всей своей страшной тяжестью вниз и угрыз в земле.

Москва того времени была суеверна. Она тут же связала в одно: и то, что новый царь родился в Москве, в кремлевском дворце, и то, что как раз в день присяги ему многозначительно не удержался на месте и упал в том же самом Кремле колокол, если не самый большой из кремлевских, то все-таки второй по величине.

Это совпадение заставило задуматься даже академика Погодина, даже всех просвещенных московских славянофилов, не говоря уже о духовенстве во главе с митрополитом Филаретом, о купечестве, о мещанах... Это показалось всем плохим предзнаменованием для нового царствования.

Впрочем, и без такого «указания свыше» всем читавшим газеты, имевшим знакомство в петербургском высшем кругу и просто осведомленным и наблюдательным людям было ясно, что положение к весне 1855 года создалось трудное, что интервенты еще в Крыму, что с наступлением теплой погоды все русские морские границы станут вполне доступными для союзного флота и, возможно, испытают его нападения, что Австрия по-прежнему готова к войне с Россией и только выжидает для этого подходящего момента; что она же очень сильно воздействует на Пруссию, и та уже вступила с нею в какие-то тайные соглашения; что вслед за Сардинией к союзу западных держав

против России готова уже присоединиться и Швеция; что в Закавказье готовится к высадке сильный отряд турецких войск, чтобы поднять против России Мингрелию, Аджарию и отрезать все Закавказье, надеясь на то, что больших русских сил там не встретит. Очень энергично действовали там английские эмиссары, а в штабе Васиф-паши, главнокомандующего малоазийской турецкой армией, главным советником был английский генерал Виллиамс.

Упавший колокол был только очень удобным образным выражением всех этих осложнений, опасений и страхов, но в то же время было здесь не без жажды чуда, знамения, пророчества, и толками об этом колоколе несколько дней кряду только и жила Москва.

Всюду поспевающий и в то же время взволнованный этим событием сам, Погодин написал даже кое-что колокольное, но печатать его статью воспретил; московский генерал-губернатор граф Закревский, находя, что она «не остановит, но еще более распространит толки».

Между тем новый царь в рескрипте своем Закревскому писал о Москве: «Первопрестольный град, колыбель моя, надеюсь, соединит свои слезы и молитвы с моими...» А в рескрипте на имя Филарета называл Москву «родною»... словом, сам напрашивался в земляки москвичам, и москвичи, естественно, заволновались снова, особенно когда до них дошли слухи о том, как Александр принимал депутацию Петербургского дворянства. Он говорил им: «Времена трудные!.. Я в вас, господа, уверен, я надеюсь на вас... Не унывать! Я — с вами, вы — со мною! Господь да поможет нам! Не посрамят земли русской!..»

Речь нового царя петербургским дворянам состояла из самых общих фраз, но московские дворяне воспылали ревностью выслушать подобные же фразы из его уст, и прежде других зашевелились славянофилы.

Хомяков писал Погодину:

«В собрании в 2 часа (20 февраля) собираются все и генерал-адъютант из Питера. Адрес необходим. Если есть готовый, вези! Я послал свой Самарину. Самарин тебя очень зовет. Адрес необходим! Отец умер, неужели сыну не скажут, что мы о нем жалеем».

Тому же Погодину писал из подмосковного имения Аксаковых — Абрамцева — Константин Аксаков:

«В первый же день своего царствования государь уже писал к Закревскому: «Москва, колыбель моя». В рескрипте к Филарету он выражается: «Родная мне Москва... По воле провидения, я родился под сенью древней, отечественной, православной святыни...» Но Москва молчит и не торопится сказать ласковое слово своему уроженцу, не отвечает ничего на его привет, полный любви! Это жаль и как-то странно. Известие о восшествии нового царя застаёт московское дворянство в собрании; оно не посылает к нему ни адреса, ни депутации, Филарет не едет в Петербург. Вы — человек лично знакомый государю, имеющий значение представителя Москвы, не едете тоже... Вы знаете, сколько добрых слухов ходит о государе. Соберите все эти слухи и напишите маленький о них отчет под названием: «Слухи о государе Александре Николаевиче во время его воцарения». Вначале надо объяснить, что слухи могут быть неверны, но что они важны во всяком случае, ибо выражают всегда, как думает страна о государе, чего желает и чего от него надеется...»

Конечно, новый царь не узнал того, «как думает о нем страна», но депутация от московских дворян собралась, наконец, и отправилась в Петербург, чтобы поднести ему адрес и услышать от него несколько милостивых слов, сказанных «от души, просто, умирительно хорошо и недвусмысленно».

II

Только через две недели после смерти схоронили, наконец, тело Николая в соборе Петропавловской крепости. Конечно, церемониал похорон был очень сложен. Шли по улицам полки за полками с траурными знаменами, шли представители всех столичных учреждений, придворные, высшие сановники и за погребальной колесницей, запряженной большим количеством красивых кровных коней, шел новый царь. Конечно, шпалерами были расставлены вдоль улиц, на пути следования процессии, гвардейцы, ограждавшие процессию от публики, с обнаженными головами толпившейся на тротуарах, и иногда среди движущихся пешком десятков тысяч людей появлялись сидевшие верхом церемониймейстеры в раззолоченных мундирах: руководители всего этого шествия, они должны были по

необходимости быть выше толпы.

День похорон Николая — 5 марта 1855 года — был в то же время днем похорон всей николаевской эпохи, так жестоко и явно обанкротившейся на Дунае и в Крыму.

Однако эти похороны одной эпохи, как бы ни была она отжившей и нелепой, еще не значили, что зарождается новая, совсем на нее не похожая, выдвинутая властным требованием исторического момента. Отцу-деспоту наследовал сын, привыкший с детства только «выполнять предначертания» своего папаши, который способен был только подавлять личности, но не выращивать их.

Никакую отрасль управления государством не ведал Александр, будучи наследником. Если после смерти своего дяди Михаила Павловича он был назначен командующим гвардейским и гренадерским корпусами и главным начальником военно-учебных заведений, то что он мог внести своего, нового в это дело, хотя бы даже и захотел? Любовь к мелочам военной службы, к форменным мундирам, парадам и смотрам была в него вколочена с раннего детства. Однако это не помешало его отцу сделать такое замечание генералу Мердеру, его воспитателю:

— Я заметил, что Александр показывает вообще мало усердия к военным наукам. Я хочу, чтобы он знал, что я буду непреклонен, если замечу в нем нерадивость по этим предметам. Он должен быть военным в душе, без чего он будет потерян в нашем веке...

И сам составил для своего наследника, которому шел в то время пятнадцатый год, план занятий военными науками: фортификацией, артиллерией и другими.

Впоследствии он заседал в Государственном совете и кабинете министерств, знакомясь с государственными делами; путешествовал по России, знакомясь со страной, которой со временем должен был править; во время этого путешествия принял свыше шестнадцати тысяч прошений от подданных своего отца с жалобами на всевозможные притеснения и лихоимство чиновников, что тоже явилось для него неплохим образовательным материалом; наконец, во время поездок отца за границу он назначался управлять государством, но, само собой разумеется, решительно ничего в заведенных отцом

порядках ломать не мог, если бы и захотел.

Но он и не хотел ничего ломать, — это было в нем главной чертой характера: он был вполне послушным сыном. Воспитанник Жуковского, он был сентиментален и слезлив. Ко дню смерти отца ему почти исполнилось тридцать семь лет, и он уже успел совершенно сложиться, как наследник, однако этого возраста оказалось далеко недостаточно для него, чтобы почувствовать в себе жажду стать царем, тем более что здоровье его отца казалось всем около него, не только ему самому, исполински прочным.

Корона свалилась на его голову совершенно неожиданно и, конечно, в самый неподходящий для такой малодетельной натуры момент.

Хомяков писал о нем: «Вот человек, которого сердце теперь исполнено глубочайшей скорби и невольного страха перед великим служением, на которое он призван!..» «Дай бог ему доверия к России и неверия к тем, кто оподозривает всякое умственное движение. Мы дошли до великих бед и срама по милости одного умственного сна; но перемены не могут быть слишком быстрыми. Здесь все радуются проявлению стремления к народному и русскому».

Несколько иными словами, но ту же радость выразил в одном из своих писем другой представитель опального кружка славянофилов Иван Аксаков:

«Возникает новая эра государственного бытия, начинается новая эра и для нравственного общественного существования каждого русского. И, конечно, каждый от всей глубины души благословит нового царя на подвижнический путь, ему предлежащий, и пожелает, что бы царствование его было обильно плодами тепла и света, добра и разума и богато всякою честностью... Желательно было бы, чтобы новый царь чаще обращался к народу с своим царственным словом и чтобы тесною, безбоязненной искренностью скреплялись естественные узы, связывающие подданных с государем».

Но царь Александр как бы совершенно был лишен какой-нибудь инициативы. Даже и после похорон Николая во дворце никак не могла определенно наладиться новая жизнь. Александр продолжал занимать свою прежнюю половину наследника и носить прежний генерал-

адъютантский мундир с вензелем отца на погонах.

В то же время заметно начало исчезать в дворцовых церемониях то строгое исполнение всякой обрядности, какое было заведено Николаем. Старые царедворцы, вроде графов Блудова и Виельгорского, признавались друг другу, что перестали уж понимать, что такое делается при дворе, и молятся, чтобы бог им простил то презрение, какое в них стали уж возбуждать все люди кругом, «до того они плохо воспитаны: громко болтают, смеются, толкаются!..» Заику Ростовцева, начальника военно-учебных заведений, завистники начали называть новым Мазарини^{79}, так поднялся его вес при дворе; появились и другие любимцы бывшего наследника и если еще не затмевали старых сановников, то как будто уже готовились затмить. А Нессельроде и Клейнмихель сами заблаговременно начали поговаривать о том, что они уже стары, дряхлы, немощны и что им пора отдохнуть...

Александр же с одинаковой легкостью подписывал разные новые указы: и о прекращении преследования раскольников за их приверженность к старой вере, и о введении особых выпушек и петличек в форму гвардии, армии и флота... Узнав об этом, московские славянофилы решили действовать тоже. Кто бы и чего бы ни пытался добиться от нового царя, но они выдвинули в первую очередь «всеподданнейшее ходатайство» о разрешении на бороду и кафтан.

— А мне-то какое же до этого дело? — удивился такому ходатайству Александр. — Пусть себе одеваются и ходят, как хотят.

Кажется, сказано было немного, но как немного бывает иногда нужно, чтобы сделать многих людей счастливыми! Иван Аксаков восторженно писал своим из Петербурга:

«Государю недавно представляли рисунок боярских костюмов; он сказал, что теперь покуда он это намерение отложит, но из всех слов видно, что ему очень хочется ввести русское платье, и в обществе петербургском даже дамы толкуют о сарафанах... Камергеров переименовывают в стольников, камер-юнкеров — в ключников...»

Боярские кафтаны и бобровые высокие шапки для придворных и сарафаны для светских дам довольно долго служили предметом

невинных мечтаний многих дворян славянофильского толка. Один из них, Кошелев, пытался ввести эту прелесть даже и в провинции. Об этом и писал Погодину так из Рязанской губернии:

«Скажу вам радость: в Сапожковском уезде начинают носить русское платье. На днях на обеде было семь, а в будущую субботу должно быть за столом у нас девять человек в русских платьях. Теперь в Сапожковском уезде надели русское платье пять Кошелевых, три Ивановских, трое Протасовых, один Колюбакин — всего двенадцать человек. Есть надежда, что эта мода перейдет и за границы Сапожковского уезда».

Жена же Кошелева писала тому же Погодину с чисто женской грацией мысли: «Мы сшили себе русские платья и надеваем их, но желательно было бы носить их. Кажется мне, время совершенно по тому приспело: и война, и перемена покроя служащим военным и статским, и новое царство, и сила времени, и важность теперешних событий — все это отымает у перемены платья характер тщеславный и колорит партий; вещь выходит серьезная и естественная. Но согласитесь, что носить мне одной невозможно, выскочкой никто из нашего слабого пола не согласится быть, во-первых, по свойственной стыдливости...» Она предлагала Погодину «не выпускать в «Москвитянине» парижскую моду и оговориться в том, что это нарочно сделано, что стыдно теперь, что пора сбросить иго моды французской». «Как нарочно, — продолжала она, — носили в прошлом году платья в обхват ног, а нынешняя картинка приказывает такую ширину, что едва в дверь войдешь... Одним словом, у вас слово живое, сильное. Подбивайте нас на это дело статьей в «Москвитянине» да другою в «Московских ведомостях». Пусть и в Питере прочтут; да, главное, надо, чтобы в провинции надели, а то в Петербурге испортят покроем. А чтобы женщины надели, нужно, чтобы мужчины уговаривали, а мы люди пустые, глупые, пол слабый и робкий, без поддержки мужчин не годимся в деле общественном... Теперь самая минута, не правда ли? Позже будет труднее, да еще потому необходимо поспешить, что обшиваться долго, да в деревне покроем не ошибешься, а к зиме будет у всех готово...»

Если так заволновались горячими мечтаниями о сарафанах и

кокошниках славянофильские дамы, то вполне естественно было самим славянофилам и почвенникам от мечтаний перейти к делу в области бород и зипунов. И Хомяков, и Иван Аксаков, и Погодин перестали брить бороды; Юрий Самарин, кроме того, напялил зипун с медными застежками... Благодушно усмехнувшийся всему, что он видел кругом, поэт Тютчев назвал это межеемочное время «оттепелью».

III

Иван Сергеевич Аксаков чувствовал себя в последние месяцы царствования Николая вообще не у дел. Он был еще молод, но уже в отставке. И служба в уголовной палате в Калуге, и в московском сенате, и потом новая служба по другому ведомству, в министерстве внутренних дел, достаточно ему опротивела. Быть редактором издававшегося на средства Кошелева журнала «Московский сборник» ему воспретили; отправиться в кругосветное путешествие на фрегате «Диана» не разрешили... Правда, ему удалось получить командировку от Географического общества в Малороссию для описания тамошних ярмарок; это его увлекло, и за год он успел собрать большой материал, но началась Восточная война, перекинулась с Дуная в Крым, и это так волновало его, что он не мог засесть за обработку своего материала, все откладывая в будущее «Исследование об украинских ярмарках». Как только начали собираться московские ополченские дружины, он добровольно записался в ополчение (что сделал и Юрий Самарин). Правда, он не имел никакого понятия о военной службе, но был в таких уже больших чинах по службе гражданской, что ему предлагали должность начальника Серпуховской дружины. Как это было для него ни лестно, но от этого пришлось отказаться, так как ни строевой, ни боевой подготовкой ополченцев он ведать не мог; он согласился быть только дружинным казначеем и квартирмейстером.

В начале марта, отправившись по делам в Москву из Серпухова, где собиралась, получала обмундировку и все необходимое для ратного быта его дружина, Иван Сергеевич завернул домой, в Абрамцево.

Стоял яркий солнечный день. Ноздреватый снег если не таял еще

явно, не рождает певучих ручьев, то оседал уже, рыхлел, мокрел, испарялся кругом в парке, и на пруде, и на куртинах около дома.

В такие дни особенно плохо приходилось больным глазам Сергея Тимофеевича, из которых левый уже ничего не видел. Чтобы не сидеть в темной комнате, он защитил глаза не только зеленым зонтиком, но еще и марлевой траурного цвета повязкой. Но он не казался дряхлым, несмотря на свою маститость. Он живо интересовался всем, даже спросил сына:

— Как там в Серпухове, грачи уже показались? Вчера ведь Герасима-грачевника была память.

А Константин Сергеевич прочитал брату то, что записал накануне под диктовку отца: «Мысли и чувства по выслушании высочайшего манифеста от 18 февраля 1855 года»:

— «Была страшная година: шел Наполеон на Александра; победоносный галл с поработенной им Европою шел на смиренную Русь... Погиб великий завоеватель, погибли победоносные легионы; восторжествовала и освободила Европу смиренная Русь.

Еще страшнее пришла година: опять Наполеон рука в руку с обезумевшей Британией ведет галльские легионы, и опять идет с ними вся Европа, но уже не рабой послушной, — собственной злобой пылая, идет она сокрушить великую Русь, которая сорок лет оскорбляла ее своим могуществом, смирением, благодушием и православием.

Идут они, прикрываясь личиною мнимых защитников разрушающегося исламизма, крест защищает луну, евангелие — алкоран; просвещение сражается за невежество, человеколюбие — за законность тиранства магометан над православными христианами.

И опять стоит против Наполеона Александр со смиренной Русью. Он приемлет скипетр и корону в самое решительное и грозное мгновение; он обещает возвесть русскую землю на высшую ступень славы и могущества, сочувствует и верит ему смиренная Русь, крестом осеняет чело, — и горе врагам ее!»

— Красноречиво, отесинька!.. В конце даже так, как будто это Гоголь писал, — слегка снисходительно улыбнулся Иван Сергеевич. — Надо бы передать этот листок Погодину, он дал бы ему ход... А что Русь «смиренная», этого, пожалуй, по нашим ополченцам не заметно.

Кресты медные на челе, это так, но будет ли от них «горе врагам», это пока еще сомнительно... Пока что они только свирепо пьют, наши ополченцы. Да, признаться, в их быту не пить и трудно... Спиться или повеситься!

— Ну, что ты, что ты!

— Что ты говоришь такое! — изумились одновременно такому слишком крутому приговору и брат и отец Ивана Сергеевича, однако он не смутился этим; он даже смотрел на них, как старший на младших, когда начал говорить взвешенно и жестко:

— Что делать, я ведь не с потолка это взял, я утверждаю это на основании того, что вижу ежедневно своими глазами... Это для нас, конечно, и для людей нашего круга существуют различные там высшие побуждения: славы, честолюбия, самолюбия, политические мечтания и прочее подобное! Мы образованны, нашему сознанию ясна картина во всем ее объеме... У нас есть отвлеченные понятия об отечестве, нам знакома история, наконец. А у них, у ратников ополчения, что? Туман, только туман, обступивший со всех сторон. Пока они видят только то, что их оторвали от их семейств совершенно насильно; потом они знают, что когда-то, со временем, их поведут, погонят на убой, как скот, — вот и все, что они знают... Ведь они на последней ступени общества, они под давлением тяжести всех сословий, они иначе и не могут смотреть на все, как только исподлобья, — что же им остается делать, как не пить?

— А зачем же офицеры, как не затем, чтобы им разъяснить, что они призваны делать? — в недоумении спросил отец, но сын в форме офицера ополчения только усмехнулся горько:

— Офи-церы!.. У офицеров та же водка, кроме того, карты, безденежье и, должен я сказать откровенно, при всем этом такое циничское отношение к казенной собственности, что мне, бывшему товарищу председателя уголовной палаты, все они не чем иным и не могут казаться, как только уголовными преступниками! О, конечно, с подведомственными им ратниками они не говорят ни об отечестве, ни об его защите, ни даже о Севастополе: у них свои личные дела и интересы. Взять каждого из них, — что называется добрый малый и этакий милый невежда во всех вопросах. Половина из них, я уверен, и

теперь уже мерзавцы, остальные будут мерзавцами, когда войдут во вкус безнаказанности...

Константин Сергеевич слушал младшего брата, все шире и шире открывая глаза. Ему казалось даже, что Иван просто неприличен с этими своими слишком горячими тирадами, способными болезненно взволновать отца, а Иван продолжал, сам волнуясь при этом:

— На мне лежит вот теперь обязанность приемки для дружин вещей, построенных московским губернским комитетом ополчения... Прежде всего я должен сказать, что если кто из офицеров дружины что-нибудь делает в ней, то это только я: все остальные стараются решительно ничего не делать, отговариваясь даже и таким милым предлогом, что они не умеют, не могут, ну, просто не знают даже, как приняться за то, за се... Кроме того, не все уверены даже и в том, что останутся в ополчении. И правда, целых семь офицеров в одной нашей дружине не утверждены! Предводителю дворянства приказано написать, обратиться письменно ко всем неслужащим дворянам в уезде с приглашением поступить на службу...

— ...Вот как! Этак, пожалуй, и я получу такое письмо? — пытливо посмотрел Константин на брата.

— Двух сыновей из одного семейства взять не могут, — решительно ответил ему за Ивана сам Сергей Тимофеевич.

— М-да, я думаю тоже, — нерешительно подтвердил Иван.

— Наконец, ведь могут и отказаться, — что же такое, что предводитель разошлет подобные письма? — сказал Константин.

— Отказы предусмотрены, — заметил Иван, — и в случае их предводителю дается право самому выбрать наигоднейших, вытребовать документы от них и представить их к утверждению в офицеры без их согласия.

— Даже без их согласия? — как эхо отозвался Сергей Тимофеевич. — Просто даже не верится! Если бы это не ты говорил, я бы не поверил! Вот до чего довело правительство! То пожертвования выколачивает из населения полиция, как татарские баскаки дань, то теперь это... Вот в какое время мы живем!

— Я сюда приехал прямо из московского комитета, — продолжал между тем Иван, глядя на брата Константина, — и должен тебе

сказать, что процветает там воровство самое наглое и явное! Я убежден, что гуси, засевшие там, украли из денег, отпущенных на постройку вещей для наших московских дружин, гораздо больше половины! А кто председатель губернского комитета? Губернатор, конечно!.. Принимать вещи для Серпуховской дружины приходится мне, — все эти сапоги, полушубки, ружья, телеги, зарядные ящики, мундирную одежду, ремни, под сумки, манерки, ранцы... Да, даже зарядные ящики, которых я никогда раньше не видал вблизи... И вот, даже я, человек в военном ведомстве новый, вынужден был засвидетельствовать письменно, что присланные нам вещи в огромном большинстве случаев полнейшая дрянь и своему прямому назначению не отвечают!..

— Это что же, один ты так бракуешь построенные для нас вещи? — спросил Сергей Тимофеевич.

— В том-то и дело, что не я один, хотя, может быть, с меня началось... Все приемщики вещей по всем московским дружинам их бракуют и не браковать не могут: слишком очевидная дрянь! И вот теперь все начальники дружин подняли вой. Этим губернатор, пожалуй бы, не смутился, — невелика, дескать, птица какой-нибудь подполковник, взятый из отставки, — но у нас есть крепкая защита в лице самого начальника ополчения генерала Ермолова и его заместителя графа Строганова. Теперь пусть воюют крупные военные авторитеты, а мы, штатские люди, будем ожидать приказаний: принимать нам всякий хлам заведомый или потребовать замены его вещами добропорядочными. А вопрос этот имеет большое значение: хотят ли из наших дружин готовить действительно материал для военных надобностей, или мы всего-навсего только канцелярская отписка...

— Да, конечно, это вопрос серьезный, вопрос серьезный, — пробормотал Сергей Тимофеевич, заметно подавленный тем, что услышал. — Ведь даже и ратники ополчения должны будут иначе относиться к службе своей, когда увидят, что им дают вещи отменные; тогда они будут их беречь и любить, не правда ли?

— М-да, я думаю, отесинька, что ратники-то больше понимают в сапогах и полушубках, в ремнях и шароварах, чем их офицеры, — несколько не на вопрос ответил Иван, — но теперь пока что они нас

заваливают жалобами на то, что помещики обижают их жен, их семейства; и я даже хочу написать бумагу Капнисту об этом, а главное о том, что необходимо же как-то обеспечить семейства ратников, раз взяты в ополчение кормильцы. Наконец, еще один вопрос волнует наших ратников. Известно, что солдаты, раз они поступили на царскую службу в полки, перестают уже быть крепостными того или иного помещика, а ратники как?

— Конечно, и ратники тоже должны быть освобождены от крепостной зависимости, а как же иначе? — немедленно ответил Ивану Константин и вопросительно поглядел на отца, но тот поглаживал отросшую на законном основании белую бородку (в конце сороковых годов с него и Константина взяли подписку на обязательство непременно брить бороды) и отозвался задумчиво:

— С одной стороны, ты прав, разумеется, но с другой...

— А что же именно «с другой»? — удивился Константин Сергеевич.

— С другой — права и помещики: ведь ратников сегодня взяли, а завтра могут и распустить, если вдруг будет подписан мир в Вене.

— О том, чтобы собралась венская конференция, что-то не слышно, — сказал Иван Сергеевич, — ратники же не хотят и верить тому, что они остаются крепостными, хотя они и призваны в дружины. Ведь как-никак, а солдат все-таки получает право не на одни только усы: он знает, что, раз надел он шинель и ранец и взял в руки ружье, он уж больше не крепостной. Ратникам же и шинели и ружья вот-вот будут розданы, а между тем в состоянии их никакой перемены... Не называется ли это драть с одного вола две шкуры? Вот почему, между прочим, они и пьют и ни малейшего уважения к своему званию ратника не чувствуют... Кстати, я в Серпухове встретился с одним офицером, только что приехавшим из Севастополя. Когда этот офицер уезжал из Крыма, он еще не знал, что Меншиков отставлен, узнал только здесь и обрадовался чрезвычайно. «Вы себе представить не можете, говорит, как весь флот и вся армия ненавидели Меншикова! Ведь он за полгода ни разу ни на одном бастионе не был!..» Можно сказать, редкостный случай: быть главнокомандующим русской армией и заслужить в такой короткий срок живейшую ненависть и солдат и офицеров!

— Другими словами всего русского народа, — заметил Константин, а Сергей Тимофеевич добавил:

— Что и будет вписано в графу итогов царствования Николая... Но если новое царствование начинается таким ополчением, как только что я слышал, то...

Он медленно махнул широкой в кости тяжелой рукой и опустил голову, не досказав того, что было понятно и без слов. Но вдруг он поднял эту седую крупную голову, перевязанную траурной марлей, и с большой живостью обратился к Ивану:

— Вот какая мысль пришла мне о начальниках дружин! Ты сказал, что они подняли вой по поводу — ну, как их — этих вот самых солдатских вещей... А не впадаешь ли ты здесь в некоторую ошибку? Вой воем, и об этом нет спору, но нет ли здесь, в этом вое, задней мысли, а?

— То есть какой же именно? — не понял Иван Сергеевич.

— А вот какой: не хотят ли эти наши начальники дружин, — ведь они все отставные штаб-офицеры, — не хотят ли они добиться того, чтобы им на руки давали деньги для этой самой, как ты выразился, постройки полушубков, сапог и прочего? То поправляют свои делишки дворяне из комитетов губернского и сам губернатор, а то поправляли бы свои дела они, начальники дружин, а? Как ты думаешь?

Иван Сергеевич улыбнулся и ответил:

— Я думаю, что ты, отесинька, прав гораздо больше, чем наполовину! Я даже думаю, что и то обращение предводителя к неслужащим дворянам, чтобы их против воли заставить идти в ополчение, вызвано только одним желанием заставить этих дворян откупаться, чем тоже можно неплохо поправить кое-чьи расстроенные денежные делишки!

IV

У Грановского, также в начале марта, сидел брат Хлапониной, адъюнкт-профессор Волжинский. Грановский вскоре после «отдания сотого Татьянина дня» заболел и не выходил из своей квартиры. Хотя он, получивший чахотку по наследству от отца, никогда не отличался здоровьем, но всякое ухудшение чрезвычайно тревожило его жену, Елизавету Богдановну, которая тоже часто бывала больна и много недель в году проводила в постели.

Однако чуть только появлялось повышение температуры у мужа, она превозмогала все свои боли и ревностно начинала за ним ухаживать. Она часто и убежденно говорила своим хорошим знакомым:

— Если только Тимоша умрет раньше меня, я в тот же день пойду и лягу на рельсы, когда будет идти поезд. Без него я жить не хочу и не могу.

Смерть между тем частенько уже застаивалась у их порога, но еще не решалась пока переступить его. Однако всем со стороны было ясно, что чета Грановских обречена, и, пожалуй, гораздо более, чем Елизавета Богдановна, ненадежен ее муж. Лечившие его врачи полагали, что он едва ли будет в состоянии пережить наступивший год.

Он перестал читать свои лекции, но его слушатели-студенты почувствовали такую пустоту в стенах университета, вызванную его отсутствием, что решили обратиться к нему с письмом. Они просили его ни больше ни меньше как о том, чтобы он разрешил им продолжать слушать курс средней истории у него на дому. Они писали: «Мы с грустным чувством говорили себе: печатные руководства и исторические сочинения останутся с нами везде и всегда, но не везде и не всегда будем мы иметь возможность слушать Грановского...»

Быть может, это было несколько эгоистично со стороны студентов, но больного профессора тронуло желание горы идти к Магомету, раз Магомет не мог сам идти к горе, и лекции по средней истории продолжались у него на квартире.

На это полушепотом пожаловалась Елизавета Богдановна, встретив Волжинского в прихожей.

— Когда же они приходят? — справился Волжинский.

— Да вот через каких-нибудь полчаса и сойдутся! — прошептала она с тоской, вытянув к нему тощую, тонкую шею, и умоляла его без слов, одним только долгим и унылым взглядом больших выпуклых и выцветших глаз, окруженных сильной синевою, чтобы он тоже не засиживался у больного и не волновал его излишне разговором.

Волжинский понял этот взгляд и постарался успокоить ее:

— Я всего на пять минут, не больше...

— Вы-то что же, вы его не утомите, на это я надеюсь, — зашептала она, — а вот студенты!.. Набьется их полный кабинет; Тимоша потом, после лекции, вынужден ложиться в постель, — так это его утомляет... А тут еще и форточку после них приходится открывать, проветривать...

В кабинете Грановского Волжинский старался, после шепота Елизаветы Богдановны, говорить сдержанно и негромко, но больной, видимо, не хотел признавать себя больным, тем более что своего ученика, почитателя и помощника не видел он уже недели две, и как раз в такое волнующее время.

— Что говорят о новом царе, Николай Михайлович? — обратился он к гостю сейчас же после первых двух-трех фраз о здоровье.

— Что же я знаю, сидя тут, в Москве? — пожал плечами Волжинский.

— Ну, все-таки! Подумаешь, что Москва это какой-нибудь Якутск! Вы — в Москве, а я — в своей квартире, это разница! Говорят же что-нибудь о новом царе?

— Говорят, будто часто он плачет, больше я ничего не слыхал. Вот, например, прощался с кадетами, как начальник военно-учебных заведений, и проливал слезы. Кажется, об этом было даже напечатано в «Пчеле»{80}.

— Конечно, было в «Пчеле», и я уж читал это! Тоже, сообщил новость! А не слыхали ли, как он насчет амнистии декабристам, какие еще остались в ссылке? И насчет этих вот еще несчастных петрашевцев...

— Ну, кто же об этом будет думать сейчас?

— Как кто? Ему же, Александру, и следует подчеркнуть сразу, с первых же дней, что старому конец, что взят им новый курс, что наступила новая эпоха для России! Ведь мог же он когда-то, лет двадцать назад, когда путешествовал по Сибири, ходатайствовать перед отцом за многих декабристов, — и участь их была смягчена... Правда, тогда с ним был Жуковский, а теперь уж его нет в живых, но я думаю, что теперь уж Александр и сам, без Жуковского, способен понять, что шаг этот ему необходимо сделать... хотя бы для того, чтобы начать этим реформы. Ведь он не просто так вот взял да и принял престол, как всякий наследник! Он не престол, он великое обязательство принял! Война эта всем показала, что мы сейчас

нуждаемся в преобразователе ничуть не меньше, чем московская Русь в Петре. Нам нужен гений на престоле — не меньше!.. А как Александр? Ну, разве же он гений?

— Сомнительно, — усмехнулся Волжинский. — Гения даже и в обширном царском терему не спрячешь. Давно бы он проявил себя, если бы был хоть талантлив. Ведь не так и молод — под сорок лет.

— Да, гения не спрячешь, это верно. Этот светильник под спудом гореть не умеет. Но, может быть, новый царь поведет войну как-нибудь счастливее, чем его отец, или пойдет на мир, разумеется почетный? Довольно уже с нас войны! Достаточно уж показала она нам нашу гнилость. Теперь — мир и реформы... Коренные реформы, во всем реформы, начиная с отмены крепостного права... Только есть ли нужные для реформы люди там, наверху? Ведь высшее общество при Александре I было гораздо просвещеннее, чем оно сделалось при его братце. Шутка сказать, тридцать почти лет заколачивать окно в Европу! Надо отдать ему справедливость, он преуспел в этом. Что слышно о мирной конференции?

— Пока ничего определенного.

— Но теперь она должна открыться! Непременно и в самом скором времени! Нужно ведь учесть покойного царя и как личность, всеми ненавидимую. Его ненавидели и боялись. Но ведь нашего нового царя не за что пока ненавидеть, а?

— Да, конечно, его нет причин ненавидеть, однако нет причин и бояться, — заметил Волжинский.

— Не нужно вовсе, чтобы его боялись! Ему самому с первых же дней нужно взять такой курс, чтобы даже и эмигранты наши не побоялись приехать в свое отечество из-за границы... Герцен, например! Непременно надо, чтобы вернулся Герцен... И ему найдется большое дело, потому что если есть у нас, русских, человек настоящего обширного государственного ума, то это — Герцен!

— Да-а, Тимофей Николаевич, но только Герцену все-таки едва ли разрешат приехать. Зато приехал австрийский эрцгерцог на похороны Николая Павловича, и уж ходит по рукам экспромт Тютчева на этот приезд... Я видел листок мельком и запомнил из него только две строчки:

Прочь, прочь австрийского Иуду

От гробовой его доски!

— Но, конечно, никто его прочь не погонит, да и незачем его гнать. Может быть, через него-то именно и договорятся, наконец, с Францем-Иосифом... Ах, как нужен был бы нам сейчас мир! Мир и реформы!.. Мир и реформы!

Исхудалое длинное лицо Грановского горело. На лбу, над бровями, выступил крупный пот. Наконец, он закашлялся затяжным натужным кашлем, схватившись обеими руками за впалую грудь.

Обеспокоенная Елизавета Богдановна появилась в дверях, и Волжинский поспешил проститься, так и не сказав того, с чем он пришел: что у него уже с неделю гостит родная сестра с мужем, артиллерийским офицером, севастопольцем, которые очень желают познакомиться с ним, знаменитым профессором... Здоровье профессора, он видел, стало так плохо, что ни ему, ни измученной жене его было явно не до гостей.

От Грановского Волжинский пошел по своим университетским делам, а вернувшись домой, застал гостей в большом беспокойстве: Дмитрию Дмитриевичу был доставлен довольно долго искавший его казенный пакет, извещавший его о смерти дяди, «помещика Курской губернии, Белгородского уезда, надворного советника в отставке Василия Матвеевича Хлапонина». Не трудно было им догадаться, что адрес Волжинского, к которому они и поехали из Хлапонинки, — хотя и не прямо, а с длительной остановкой в Курске, — был найден уездной полицией в записях покойного, но о том, естественной ли смертью умер дядя, или насильственной, ничего не было сказано в казенной бумаге. Можно было только догадаться, что смерть была какая-то скоропостижная: ведь, уезжая из Хлапонинки, они оставили дядю вполне здоровым, даже мечтающим обзавестись законной женой и населить дом вполне законными от нее детьми.

— Выходит, что вам надобно ехать, не теряя времени, обратно в свою Хлапонинку! — сделал ударение на слове «свою» Волжинский, выслушав их и обращаясь к Дмитрию Дмитриевичу.

— В мою Хлапонинку? — подхватил Дмитрий Дмитриевич, отрицательно качнув при этом головой. — Едва ли я — единственный

наследник! Скорее всего, что совсем не наследник: все зависит от духовного завещания, какое дядя оставил.

— Да, конечно, у него ведь много детей, которых даже и «побочными» не назовешь, так как не имеется «прямых», — добавила Елизавета Михайловна.

— Ну, а если завещания никакого не нашли, потому что его, допустим, и не было? — упорствовал Волжинский.

— Не-ет, дядя мой был не из таковских, чтобы не написать завещания!

— уверенно сказал Хлапонин. — Да что ему еще было и делать там у себя, по вечерам, зимою? Пиши да пиши завещания... Что же касается того, чтобы ехать, то ведь скоро надо отправляться назад в Севастополь: отпуск мой подходит к концу, и я уже не чувствую себя больным, слава богу.

И как бы в доказательство того, что он уже совершенно здоров, Дмитрий Дмитриевич развел широко руки, сделал ими два-три сильных движения и по-строевому высоко поднял грудь.

— Молодцом! — не мог не похвалить Волжинский.

— Вот видишь! А пять месяцев назад был я полутруп... Что же касается Хлапонинки, то должен я сказать, что не хочется мне что-то туда и заезжать. А? Как, Лиза, ты?.. Предположим даже, что я единственный наследник. Ведь вводиться во владение — это очень длинное дело, требует хлопот и денег... Это будет означать, что надо просить у начальства о продлении отпуска как бы для лечения... Неловко, Лиза!

— А разве я тебе говорила что-нибудь об этом? — удивилась она.

— Не говорила, нет, но, может быть, думаешь так?

— Не думаю, поверь, Митя! Мне так было всегда жутко в этой Хлапонинке, — обратилась она к брату, — что я бы поехала скорее опять в Севастополь, чем туда, если бы даже Митя и был объявлен единственным наследником.

— Конечно, поскольку имение является недвижимым имуществом, то сбежать от вас оно никуда не может и не смеет, — улыбнулся Волжинский. — Извещение об этом вы получите или на мой адрес, или на севастопольский. А так как я не знаю, что такое во всей своей прелести бомбардировка со стороны англо-французов, то не могу и

решить, что предпочтительней: третий бастион или русские присутственные места... Может быть, действительно лучше вам обоим будет, если вы оставите свой ввод во владение до окончания войны.

— Послушай, откуда же ты взял этот неперемный «ввод во владение»? — отозвалась ему сестра, но он ответил шутливо:

— Ах, боже мой, я просто привык, как Наполеон, всегда надеяться на самое худшее, чтобы не нести потом никаких разочарований! ,

Глава шестая. Пластуны

I

Для живой изгороди подходят только такие кустарники, которые способны укореняться быстро, расти густо и стоять ежами, распустив во все стороны крепкие колючие шипы. На севере, например, хорош для этого боярышник, на юге же гораздо пригоднее его держи-дерево или акация-гледичия: они поднимаются сплошной колючей стеной, и продраться сквозь них ни пешему, ни конному невозможно. Такой живой изгородью России на юге сделались запорожцы, при Екатерине II переселенные с Днепра на Кубань стеречь русские рубежи.

Кордонная линия тянулась по правому гористому берегу Кубани. У Анапы она соединялась с береговой линией, тянувшейся вдоль берега Черного моря на юг до Грузии. Гарнизоны постов береговой линии были сняты и перевезены в Крым перед самым началом осады Севастополя, но кордонная линия на Кубани оставалась, как и прежде, оплотом против набегов горцев и опорой для наступательных действий против них же.

С Днепра на Кубань переселились казаки со своими приемами строить укрепления и даже со своими старинными пушками, помнившими времена чуть ли не Наливайки^{81} и Палия^{82}. Их посты представляли собою четырехугольные редуты с бруствером, усаженным терновником. Такие редуты с успехом выдерживали нападения конных шаек и пеших толп. Неизменно на каждом таком редуте устраивалась наблюдательная вышка вроде пожарной каланчи, только самого простого вида. Из камышовой крыши этой вышки

вздымался пикою шест с перекладиной, а на каждом конце перекладины подвешен был на бечевке шар из ивовых прутьев. Это и был телеграф или по-казацки маяк. Когда сторожевой на вышке замечал вдали черкесов, он кричал вниз:

— Черкесы, бог з вами!

Ему кричали снизу:

— Маячь же, небоже!

Сторожевой поднимал, дергая за бечевки, оба шара кверху, и, если при этом был хотя бы слабый ветер, они раскачивались и «маячили» тревогу.

Кроме того, рядом с укреплением врыт был длинный шест, обмотанный соломой, а на верху шеста торчала кадушка со смолой. Если нападение черкесов производилось ночью, зажигался этот маяк. Тогда один за другим вспыхивали и горели такие маяки по всей линии, подымалась ружейная пальба, кричали люди, ревела скотина, а иногда громогласно прокатывался по реке пушечный выстрел, не столько вредоносный для черкесов, сколько внушительный и ободряющий для казаков.

Впереди укреплений и по сторонам их для связи ставились пикеты, — по-казацки «бикеты», — простые шалаши, окруженные плетневой оградой; они вмещали от трех до десяти казаков. Зная малочисленность пикетов, шапсуги иногда окружали их ночью большой толпой и кричали по-русски:

— Эй, Иван! Гайда за Кубань!

Это значило: «Не трать зарядов, а лучше сдавайся!..» Но казаки начинали отстреливаться из-за своей плетневой крепости, и часто бывало, что отбивали нападение или вызывали своей пальбой подмогу с постов, а иногда все до одного погибали.

Когда в 1787 году запорожцы в числе тринадцати тысяч двинулись по грамоте Екатерины переселяться на Кубань, пограничную с тогдашними турецкими землями на Кавказе, они отметили это событие в своей жизни иронической песней:

Ой, годі нам журитися,

Треба перестати:

Заслужили от цариці
За службу заплати!

Дала хліб-сіль і грамоти
за вірні служби:
От тепер ми, односуми,
Забудемо нужди.

В Тамані жить, вірно служить,
Грядицю держати;
Рибу ловить, горілку пить,
Ще и будем багаті

Та вже треба женитися
І хліба робити,
А хто йтиме із невіри,
Непощадно бити...

В грамоте Екатерины обязанность жениться и завести свое хозяйство была поставлена в число первых обязанностей для бездомной запорожской вольницы. Пришлось эту обязанность выполнить: они осели на новых местах, и вышли из них не такие уж плохие хозяева, потому что на Кубани нашли они не только богатейшие земли — бездонный чернозем, но еще и неусыпного врага всему своему хозяйству в лице шапсугов, абадзехов и других кавказцев с левого берега реки.

Но как бы ни была беспокойна жизнь казаков-переселенцев, надо было жить и «грядицю держати», и первоначальные коши и курени их исподволь превратились в станицы и хутора, подкреплявшие кордонную цепь особыми отрядами во время ожидавшихся по розыскам разведчиков нападений горцев летом или осенью. Зимой же эти вспомогательные отряды располагались около линии бивуаком под открытым небом и выстаивали так два, два с половиной месяца, потому что зимой Кубань замерзала и была проходима во всю длину и для пеших горцев — «психадзе» и для конных — «хеджретов».

На лугах вдоль Кубани заготавливалось летом сено для коней и скота — несколько тысяч стогов, миллионы пудов сена, — но достаточно было шапсугу хеджрету подскочить к одному из подобных стогов, приставить к нему пистолет и выстрелить — вот и начинал пылать стог: жечь казачье сено входило в тактику борьбы горцев с русскими, и делалось это большей частью зимою.

Летом в неоглядных кубанских плавнях, представлявших сплошную топь, покрытую камышами и кое-где прорезанную текучими водами или озерами, оставшимися после разливов реки, тоже могли таиться на островах или отмелях, поросших ивняком, мелкие шайки. Но зато те же плавни скрывали и многочисленные казачьи пикеты.

Плавни со всеми узенькими, едва заметными тропинками в них, проложенными стадами кабанов, были, конечно, хорошо известны казакам, которые охотились в них и на тех же кабанов, и на диких коз, и на фазанов, и на другую дичь. Плавни представляли собою совершенно особый мир, полный до краев кипучей жизни и самой свирепой борьбы за жизнь. В них только и делали, что бесчисленно размножались птицы и звери и неустанно истребляли сильные слабых; а весною и летом всюду в них гудел неисчислимый комар, жадно впиваясь в лица, руки и шеи казаков, сидевших в засаде. Эти тучи комаров и мошкар, крутившиеся над тем или иным местом в плавнях, всегда, между прочим, давали знать осторожным горцам, что тропинки стерегут казаки, а казакам — что на отмелях или островках таятся горцы.

Пограничная прикубанская война мелкими и мельчайшими партизанскими отрядами, война неустанная, тянувшаяся из поколения в поколение десятки лет, не смогла не породить с той и с другой стороны отчаянных храбрецов совершенно своеобразного склада.

Со стороны горцев такими были хеджреты, то же самое, что за Теремом абреки. Хеджреты от арабского слова «хеджра» — бегство (Магомета из Мекки в Медину), беглецы, высленцы из отдаленных аулов, ничего не имеющие, кроме коня и оружия. Набеги на русских были их единственным способом жизни. И когда тот или иной горский вождь задумывал большой набег, он заранее оповещал об этом по округе и расстилал около своего двора бурку. Всякий, кто хотел

участвовать в набеге, бросал камешек на эту бурку. Считалось унижительным у горцев считать людей: считались камешки, и по их числу определялась сила собирающегося отряда. Основное ядро каждого такого отряда состояло, конечно, из хеджретов, о которых недаром и говорилось, что они «подковами пашут, свинцом засевают, шашками жнут».

Первые бедняки по одежде и первые богачи по оружию, хеджреты были действительно удальцы, смельчаки, готовые идти на предприятия самые дерзкие. «Кожа с убитого хеджрета ни на что не годится, но когти этого зверя дорого стоят», — так говорилось о них у горцев. Горские поэты складывали о них песни; горские девушки отдавали на празднествах им предпочтение перед молодыми красавцами, бешметы которых обшиты были серебряным галуном — признак их родовитости и богатства. И первая красавица большого шапсугского аула, царица пира, проходя мимо подобных галунников, находила затерянного в толпе оборванного хеджрета, славного своими подвигами, и подавала ему руку для пляски.

И это отличие считалось у хеджретов высшей наградой, а жизнь — копеечкой. Но нужно же было и казакам выставить из своей среды против подобных рыцарей таких, которые были бы равноценны им по сметливости и спокойной отваге: такими именно и были черноморские пластуны.

II

Пластуны были совсем не кавалеристы, как хеджреты; но, пожалуй, их нельзя было назвать и пехотинцами, потому что они не учились маршировать в ногу, под барабан, как это свойственно регулярной пехоте; зато они учились ползать, подползать, подбираться незаметно, пользуясь где густой травой, где камышом, где кочкарником, где кустами, где камнями, как прикрытиями для своего распластанного по земле тела, и работая локтями и коленями. Самое это украинское слово «пластун» можно перевести «ползающий».

Они учились быть разведчиками и были непревзойденные разведчики; они учились часами без малейшего движения сидеть или лежать в засаде; они учились без промаху стрелять из штуцера или из

пистолета и владеть кинжалом, как мог бы владеть им только природный горец.

В чем пластуны ничем не отличались от хеджретов — это в своих бешметах: они были так же дырявы, эти их бешметы, несмотря на то, что были заплатаны разноцветными заплатами, а иногда и кожей, не меньше как в сорока местах. Впрочем, подражания тут не было, щегольства этим — тоже; просто бешмету больше всего доставалось при том способе передвижения, какой облюбовали для себя пластуны: все встречные корни, острые камни, шипы колючих растений норовили оставить себе на память клочок старого казачьего бешмета.

На ногах у них были постолы или чувяки из шкуры ими же убитых диких кабанов, черной щетиной, конечно, наружу. Такая обувь была и легка, и удобна, и неслышна при ходьбе, и долго не промокала при неизбежной ходьбе по сырým плавням.

Пластуны были глаза, и уши, и как бы щупальцы кордонной линии: они не смели пропускать незамеченными ни хеджретов, ни хитрых психадзе, которые перебирались через Кубань по ночам, прибегая ко всяким уловкам. Самое это слово «психадзе» значит по-русски «стая водяных псов»; это они ввели в обиход казацких способов защиты свою тактику нападения. Хеджретам некуда было спрятать своих коней, и они поневоле действовали, как львы набегов: смело, быстро и шумно; психадзе — как шакалы: подкрадываясь, таясь, выжидая удобнейшего момента. Хеджреты часто носили под своим рубищем кольчуги, как настоящие рыцари; психадзе действовали налегке, но встреча с ними в плавнях никогда не сходила легко с рук пластунам.

Имея таких противников, приходилось сторожевым казакам далеко отбросить свою запорожскую беззаботность, беспечность, лень, хотя внешность их с виду и не менялась. Пластуны, как типичные украинцы, казались с первого взгляда валковатыми, тяжелыми на подъем; но им нужно было только почувствовать опасность или просто заняться своим делом разведчика, чтобы совершенно преобразиться и выказать необычайную ловкость, неутомимость и быструю сметку, и тогда лихо сидели на них сдвинутые на затылок даже их старые, вытертые, линялые, рваные папахи.

Пластун только винтовку свою брал в руки, когда отправлялся в свои

поиски, а все остальное, что было ему нужно, висело на нем: сзади сухарная сумка, у пояса — штуцерный тесак, пороховница, шило из рога дикого козла, котелок, а у кого даже и балалайка или скрипка на случай, если не обнаружится никаких покушений на границе, появится некоторый досуг и явится возможность заняться музыкой.

Но возможности такие были все-таки редки (только во время полевых работ), а обязанности пластунов очень сложны и, главное, ответственные.

Прежде всего они должны были подмечать решительно все следы на тропинках в плавнях, нет ли каких подозрительных, свежих. Да и самые тропинки могли быть свежими, только что проложенными, — кем?

У пластунов, конечно, не было никаких карт местности, и все тропинки в нескончаемых плавнях должны они были запоминать на глазок, поэтому пробирались они сквозь камыши медленно, всюду на поворотах и на перекрестках тропинок делая свои заметки.

Они бродили партиями мелкими: три, пять, десять человек — не больше. Прийти на помощь к ним в плавнях никто не мог, так что в случае встречи с более многочисленным врагом могли они надеяться только на свою удачливость да на меткость своих штуцеров. Именно штуцеры у них считались меткими или с изъязном, а не стрелки, так как посредственный стрелок и не мог попасть в пластуны; и когда они бывали свидетелями особенно удачного выстрела, они говорили, крутя головами: «От-то ж добре ружжо!» — и всякому из них тогда хотелось осмотреть это ружье во всех частях, а к стрелку бывали они совершенно равнодушны.

Пластуны, живя своей особой и полной опасностей жизнью, имели и свои предания, и своих героев, сложивших кости в плавнях, и свои поверья: заговоры, наговоры, «замолвления», общее название которым было «характерства». Заговоры начинались обыкновенно словами: «Я стану шептати, ты ж, боже, ратувати...» — и касались они вражьей пули, опоя коня, укушения ядовитой змеи; наговоры же были на удачу своего ружья и своего капкана на охоте; «замолвлениями» останавливали кровь, текущую из ран...

Пластуны часто для разведок не только уходили на левый берег

Кубани, но и забирались поближе к аулам горцев, чтобы разузнать, не готовится ли там нападение большими силами на главный кубанский курень-город Екатеринодар или на другие, меньшие курени-станицы. Но на росистой по утрам траве остается, конечно, след «сакма» — пластуна, и тот не пластун, кто не умеет убрать за собою следов. Пластуны всячески старались запутать тех, кто стал бы приглядываться пытливо к их следам. Они или прыгали на одной ноге, или «задковали», то есть шли задом, только оглядываясь время от времени, туда ли идут.

Нечего и говорить, как опасны были эти поиски в лагере противника. Случалось, что иные пластуны погибали при этом, иные же, подстреленные, попадали в плен к черкесам. Черкесы всегда нуждались в работниках, и пленного покупали зажиточные хозяева, но пластун всячески доказывал, что он ничего не умеет делать по хозяйству и от него один только убыток. Думал же он одну-единственную думу, как бы ему бежать; и когда способ этот бывал им найден, то ни цепи, которыми его сковывали, ни колоды, которыми лишали его возможности двигаться по своей воле, препятствиями ему не служили: он убегал на свою Кубань.

Пластунами были в огромном большинстве люди средних лет: молодые не годились по недостатку терпения и сметки, старики — по стариковским немощам. Но иногда пластуны принимали в свою среду и молодых, если только они были сыновья заслуженных известных пластунов, опыт которых, конечно, должен был перейти к их «молодикам».

Тем труднее было бы стать пластуном человеку пришлому, хотя бы и украинцу, но не природному казаку. С 1842 года пластуны были признаны отдельным родом войск, и для них заведены были штаты: по шестидесяти на конный казачий полк и по девяносто шести на пеший батальон. Но штаты эти, как оказалось, были рассчитаны очень скупо, и число пластунов, по необходимости, далеко выплескивало за штаты. Если повышенное жалованье, какое за свою трудную службу получали от казны пластуны, выдавалось только штатным, то сверхштатные не очень завидовали им: все они были заядлые охотники, а охота в плавнях давала им и мясо, и сало, и шкуры, и мех.

III

Когда Терентий Чернобровкин добрался где пешком, где на санях с попутными обозами до Харькова, обилие всяких полицейских чинов и военных на улицах этого большого города на другой же день привело его к мысли, что задерживаться здесь, как он полагал раньше, будет, пожалуй, опасно; ему даже начало казаться, что пока он шел и тащился с обозами, бойкие почтовые тройки во все ближайшие к Хлапонинке города успели уже развезти злые бумаги о том, чтобы разыскать и задержать такого-то беглого по таким-то приметам.

Немного денег было у него зашито в рукаве поддевки, — их он берег на крайность, стремясь даже и непростенно помочь тому-другому хозяину, где приходилось ночевать в пути, а потом пристроиться к краюхе хлеба или миске каши.

И если на второй день после побега трудновато все-таки было ему так вот сразу взять и придумать ответ на законный, конечно, вопрос всякого попутчика — куда именно он направляется и зачем, то на третий день это стало уже легче, а на четвертый, когда был уже в Харькове, он говорил, нисколько не задумываясь, что он оброчный и идет на заработки на Дон, в город Ростов, где живет его старший брат на хорошем месте при лесном складе.

И Дон, и Ростов, и лесной склад — все это было схвачено им на лету из разговоров, которые заводил он сам или к которым прислушивался со стороны. На Ростове остановился он потому, что был этот совсем незнакомый ему до того даже и по имени город гораздо дальше от Хлапонинки, чем Харьков; до Ростова, так казалось ему, никакие злые бумаги о нем дойти не могли, — и там он мог уж быть спокойным.

Две недели прошли еще, пока он добрался до Ростова, однако показалось ему, как беспаспортному, «не имеющему вида», опасно задерживаться и здесь. Он пристал к бродячим офеням, направлявшимся со своими коробами, полными разной мануфактуры и галантереи, на Кубань, где, как ему сказали, люди живут привольно и до того свободно, что раз ты не черкес, то нет до твоего «вида» никому никакого дела.

Своему коробу у Терентия неоткуда было взяться, — он таскал чужие,

благо плечи у него были широкие и безотказные.

Так в конце февраля очутился он в Екатеринодаре, в котором в те времена было около восьми тысяч жителей и до двух тысяч домишек, одноэтажных, саманных, крытых где камышом, где соломой; двухэтажный дом был только один — войсковая богадельня. Присмотрелся Терентий и к тамошнему острогу: он был обнесен высоким частоколом из дубовых обапол, заостренных на концах, как пики. Дубовые бревна привозились сюда для построек теми самыми черкесами, с которыми все время велась война на кордонной линии: у них был лес, у казаков — соль, и для того, чтобы менять лес на соль, устроен был в Екатеринодаре меновой двор.

Основание этому меновому двору, как и другим на Кубани, было положено еще Павлом I по «всепоподданнейшему донесению» кошевого атамана Черноморского войска Котляревского: «По неотпуску каждому черкесскому владению из войска Черноморского соли там, где ему способно, оные владения, злобствуя на войско, причиняют ему хищническим грабежом людей немалые обиды, говоря тако: — Давай нам соль там, где надобно, не будем воровать, ибо нам без соли не пропадать, и мы у вас за то ворует, что в Анапе дорого соль купуем...»

Кроме соли, горцы выменивали ситец и шелковые материи, канитель для галунов и посуду, сундуки, расписанные цветами и птицами, и мыло, войлок, и холсты; а кроме лесу, привозили лубок и черную нефть, бурки и ножи, цыновки и алебастр.

Весенний разлив Кубани задержал корабейников и вместе с ними Терентия в этой столице Кубанского края больше чем на неделю, но зато торговали офени бойко. Половина населения здесь были простые казаки, занятые сельским хозяйством в разных его видах и всячески расширявшие для этой цели свои дворы за счет ширины улиц: переставит плетень свой один, за ним другой, потом третий, — не отставать же от добрых людей, — глядь, и отхватили пол-улицы, зато хозяйство цело. Однако денег у казачек, у которых глаза разбегались на все, что раскладывали перед ними офени, было мало или они были от природы скуповаты, только они устраивали в каждой хате свой меновой двор: выменивали мануфактуру и гребни, наперстки, иголки

и нитки на свое прядево, на щетину, перья, воск, заячьи шкурки, даже на клыки диких кабанов... Впрочем, щетину коробейникам приходилось выдирать деревянными лещетками из хребтов свиней самим, и они это делали привычно и ловко, укладывая для этого свиней на бок и связывая им ноги.

Терентий скоро разобрался во всем, что видел в этом крайнем углу русской земли. Казаки заняты были только войною и землей, лошадьми, скотом, а все ремесленники здесь, начиная с каменщиков, плотников, бондарей, кузнецов и кончая дубильщиками кож и шаповалами, были пришлые — москали или городовики, то есть хотя и украинцы тоже, но не казаки. Одни только глечики — кувшины для молока и сметаны — были на Кубани своего казацкого производства, и славился этим курень Пашковский.

Когда сбыла полая вода, Терентий вместе с коробейниками продвинулся ближе к кордонной линии. Жадно вглядывался он во все, что видел кругом, и все его здесь удивляло, но больше всего то, что не было на всем этом огромном земельном просторе ни помещиков, владельцев крепостных душ, ни крепостных. Казачество было вольным, и земля давалась ему в пожизненное владение так же, как и офицерам казачьим и генералам. Разница была только в том, что офицерам и генералам земли давалось несравненно больше, чем простым казакам, и они не жили в станицах, а заводили себе хутора, то есть те же помещичьи усадьбы, однако даровых рабочих рук у них не было, и казаки усиленно требовали размежевания, так как хутора облегали станицы со всех сторон, а казачьи покосы приходились в степи, иногда за десять верст от станиц. Но это казалось Терентию сгоряча полнейшими пустяками, и чем больше знакомился он с Кубанским краем, тем сильнее жалел, что не приходилось ему даже и слышать о нем раньше. Не один раз говорил он офеням:

— Эх, черт!.. Вот бы куда жену, ребят своих выписать да здесь и остаться! Вот где добро-то!

Офени посмеивались над ним, над «деревней». Они были народ бродячий и торговый. Привязанность имели только к туго набитому кошельку, на который можно бы было со временем завести лавку, стать купцом; земля, по которой приходилось им таскать или возить

свои короба, не занимала их сама по себе. Распродав все, что у них было, они отправились снова в Ростов за товаром; Терентий же остался на кордонной линии, где гремели в плавнях выстрелы пограничников-пластунов.

IV

Это завелось в Терентии еще с тех времен, когда он был казачком в барском доме, в Хлапонинке, — услужливость, быстрая сообразительность, поворотливость и ловкость; не только умение сделать и то, и другое, и третье, но также и более трудное умение — самому найти, что надо сделать, а не ждать приказа: совсем не в его натуре было лежать без дела в лакейской и глазеть в засиженный мухами потолок или клевать носом сидя, пока не позовут в комнаты.

Мать Дмитрия Дмитриевича любила собирать и сушить лекарственные травы, делать из них настойки, мази, притирания. Она сама и лечила своих крестьян, а казачок Терентий был в этом ее ретивый помощник, а потом, став уже тягловым мужиком на деревне, все собирал и сушил у себя в хате под образами пучки трав, листьев, ягод и корешков. К нему и обращались по смерти Хлапопиной его однодеревенцы; иногда приезжали и из других деревень, и часто случалось ему вылечивать нехитрыми лекарствами невъедливые болезни.

Вот это-то знахарство и пригодилось ему здесь, на Кубани, чтобы удержаться на кордонной линии.

В то время вся эта линия, тянувшаяся на двести шестьдесят верст, поделена была на четыре врачебных участка, но лекаря, попавшие в этот диковатый край, искали для себя все-таки кое-каких удобств, поэтому и жили кто в станице, кто даже на хуторе у штаб-офицера или генерала, и очень редки бывали случаи, когда их видели на постах и «батареях». Там больных и даже раненых лечили свои же казацкие медики, большей частью кашевары.

Это были вообще серьезного склада люди, дававшие обет безбрачия и строго державшие этот обет, почитавшие свое кашеварство настолько святым занятием, что не давали казакам даже уголька из костра запалить люльку, когда варился борщ. Костру, впрочем, они придавали и лекарственное значение и неизменно зажигали его тогда,

когда оказывался среди казаков раненный черкесской пулей или шашкой.

Раненого подносили тогда к костру, чтобы он, глядя в огонь, чувствовал себя веселее. Считалось также необходимым трое суток после ранения не давать ему спать, и чуть только он закрывал глаза, сейчас же довбыш начинал бить в литавры, как на тревогу, или кто другой принимался за гремучий бубен, или запевалась хором какая-нибудь бодрая по напеву боевая песня, например:

Іде козак на Кубань,
Знаряженный мов той пан:
Кінь жвавий,
Сам бравий,
Хват неборак!

Тех же кашеваров-знахарей забота была не допускать к раненому и людей с заведомо дурным глазом, а такими считались все слишком впечатлительные и говорливые, способные охать и ахать и сокрушенно качать головой.

Как бы ни были раздроблены кости в руке или ноге, к хирургии не обращались. Чтобы поставить кости в ране так, как им удобнее было бы потом срастись, пропускали в рану волосинку с петелькой на конце — «заволоку», которой старались захватить острые осколки кости и подтянуть их к своему месту. Что же касалось самого раненого, то он должен был беспрекословно терпеть все эти жестокие приемы кашеварского лечения и не «копошиться».

Только в случае явного антонова огня хватались кашевары за острые свои ножи или кинжалы и отрезали поспешно руку или ногу «по сустав».

Торговцев, по-украински «крамарей», казаки очень не любили, в этом уже убедился Терентий, когда ходил с чужим коробом за плечами. У них было даже ходовое речение: «Як хочеш мене називай, тільки не крамарем: бо за тэ полаю!..»

Терентию повезло войти к казакам на одном из постов в доверие в качестве знахаря. Случилось так, что на этом посту заболел не кто

другой, как сам кашевар, и вот лечить его вызвался Терентий и действительно поставил на ноги в четыре дня.

Но за эти четыре дня он сумел показаться казакам и как песенник, и как плясун, и, что особенно ценилось ими, как меткий стрелок. Когда же в турецкой борьбе на поясах удалось ему поднять на воздух и брякнуть оземь самого дюжего из казаков на посту — Трохима Цапа, то казаки покрутили головами и сказали вдумчиво:

— От же скажений який кацапюга. Тільки и шкода, що кацап, а то б чім нэ козак?

Однако Терентий, хотя и был «кацап»-курянин, но из местности, граничившей с Украиной, так что язык казаков отнюдь не был для него чем-то неслыханным и совершенно чужим. На пути же от Харькова к Ростову он к нему прислушался, а в Екатеринодаре сам уже начал вместо: «А как же?» — говорить: «А хіба ж як?» и: «А вже ж!»

Таинственные плавни, о которых он уже достаточно слышался и которые были теперь все время перед его глазами, неудержимо тянули его к себе, и вот, чуть определились в них тропинки, тот же Трохим Цап, не питавший к нему злобы за то, что он его осилил в борьбе на поясах, взял его с собою на охоту. И на этой первой в его жизни охоте на крупного зверя, притом в плавнях, Терентию нечаянно посчастливилось показать Трохиму, что штуцер, который тот ему дал, «добре ружжо», штуцер же, из которого стрелял сам Трохим, — «так, а бы що...»

Может быть, случилось это потому только, что, перед тем как идти, выпили они по доброй чепорухе горилки, попавшей Трохиму на старые дрожжи, но так или иначе удалось Терентию удачейшим выстрелом спасти жизнь Трохиму, и это окончательно утвердило его на линии.

У

После половодья Кубань втянула уже свои расплескавшиеся на десятки верст воды в привычное для них русло, но тропинки в плавнях были еще топкие и тяжелы для ходьбы, когда Терентий на шаг позади Трохима продвигался по ним медленно, так как нужно было

все-таки стараться выбирать для ног места потверже, чтобы не загрязнить выше колен.

Желтый прошлогодний камыш очень перепутало и поломало и зимними буранами и полрой водой, и местами он, поломанный, загораживал узенькую тропинку, так что приходилось подминать его под ноги, и он трещал, что очень беспокоило Трохима: ему все казалось, что под его ногами он хотя и трещит тоже, но куда слабее, чем под ногами «кацапюги». Он часто оборачивался назад, и Терентий видел его сердитый желтый, как у щуки, глаз и тугой завиток наложенного черного уса, который тоже казался сердитым.

Трохим Цап был немолодой уже казак, и Терентий, кидая иногда зоркий взгляд на его толстую красную шею, подмечал на ней морщины, расположенные разными замысловатыми фигурами, но шагал Трохим легко и глядел по сторонам и вперед пристально, а иногда останавливался вдруг, делал Терентию знак рукою и слушал.

Криков разной водяной птицы кругом было по-весеннему много, особенно горласто крякали утки, которые здесь перестали уж казаться Терентию дичью. Он ожидал встретить оленя или по крайней мере дикую козу.

Однако оказалось, что Трохим имел тайные мысли и вышел он совсем не за козой, даже не за оленем. На перекрестке двух тропинок он вдруг быстро пригнулся, почти припал к земле и не только рассматривал чьи-то следы, даже принюхивался к ним, точно гончая. А когда поднялся, тут же безмолвно и серьезно сделал Терентию знак идти обратно. Терентий не понял, зачем это было нужно, однако пошел назад. Он думал, что недалеко где-то прячутся психадзе, о которых он уже много слышал, и вот Трохим это приметил. Он шел, стараясь ступать как можно тише, и только отойдя от перекрестка тропинок шагов на пятьдесят, опросил все-таки Трохима, вполголоса и чуть повернув к нему голову:

— Черкесы?

— Кабаны! — так же тихо ответил Трохим — тихо, но выразительно.

Только отойдя еще шагов на сто, Трохим решился объяснить Терентию, что напали они на свежий след целого стада кабанов, в котором старый кабан, вожак, будет, судя по его копытам, пудов на

пятнадцать, если не на все двадцать, да и свинья мало чем ему уступит; есть в стаде и крупные «пидсвинки», хотя и полосатые еще. Тут Терентий узнал, что кабан обыкновенно поедает весь свой выводок, если только свинья не сумеет его спрятать; но если спрятала на первое время, то после уже не трогает, и до четырех лет поросята ходят с маткой и с ним, как бы ни выросли велики за это время; что рубашка у поросят до четырех лет бывает полосатая, полосы то желтые, то черные, а уж в четыре года «пидсвинки» становятся сплошь черные, и тогда они отделяются от стада и заводят свое потомство.

— Чего ж ты ушел? — спросил Терентий.

— Того и утік, шо ты дурной, — ответил Трохим.

Оказалось, что на кабана нужна непременно «залога», то есть засада, и что к перекрестку тропинок, — причем вторая тропинка и проложена в плавнях этим самым кабаньим стадом, — им нужно будет прийти в ночь, перед рассветом, и там засесть, и боже избави курить люльку. Когда же старый кабан поведет на рассвете стадо на водопой, тогда он, Трохим, выпалит по этому самому кабану, а Терентий чтобы не зевал и палил тогда по другому, когда старый будет убит.

С вечера заснули, а после полуночи пошли тем же путем, как накануне, и Терентий увидел, как может ходить пластун по своим плавням даже и ночью. Ночь, правда, была из светлых, но это только сердило Трохима.

Пришли и сели за густой камыш еще задолго до рассвета, но Трохим сидел, как мертвый, не шевелясь, и Терентий тут в первый раз понял, что такое пластун, когда он сидит в засаде.

Вот уже стал он различать ближние камышинки; отчетливей стала видна ему папаха Трохима и его полушубок, который надел тот поверх тонкого бешмета, так как ночь оказалась свежей... Вот закрикали с разных сторон и начали летать над камышами утки... Два длиннохвостых фазана один за другим сели было на тропинке впереди, но, покрасовавшись несколько мгновений, вдруг поднялись на воздух и скрылись. Трохим повернул к Терентию правый глаз и ус и выставил вперед свой штуцер: его ухо тут же вслед за фазаньим взлетом уловило приближающийся хруст камыша и кабанье пыхтенье.

Терентий завоzilся в камыше, чтобы сесть поудобнее, так как успел уже отсидеть обе ноги, а когда глянул вперед, на тропинку, увидел перед собою, шагах в шестидесяти, что-то черное, громоздкое: это остановился кабан, услышав, как он завоzilся и зашуршал камышом.

Трохим выстрелил. На секунду все кругом заволокло дымом, так что Терентий не видел, в кого нужно стрелять ему, но прошла эта секунда, послышался удаляющийся испуганный бег всего стада, кроме кабана, который, угрожающе хрюкнув, кинулся было вперед, на охотников.

— Дай ружжо! — крикнул Трохим Терентию, и тут же сам вырвал из его рук штуцер.

Но кабан почувствовал, что в нем сидит пуля, повернул и помчался за стадом.

— Заряжай! — крикнул Терентию Трохим, сунув ему свой штуцер, а сам кинулся вдогонку за кабаном, оставившим на примятом камыше кровавый след.

Терентий принялся проворно, как все, что он делал, заряжать штуцер Трохима, а зарядив, бросился за ним.

Пробежав по топкой тропинке несколько десятков шагов, он вдруг услышал густое: «Гей-ей!» — как рев, и как стон, и как призыв на помощь, и увидел Трохима уже на спине черного кабана, головой к его хвосту.

Только после стало ему ясно, что хитрое животное, пострадавшее от засады, устроенной ему людьми, само устроило засаду, заслышав за собой погоню. Кабан метнулся в сторону и стал за камышом на повороте тропинки, а когда Трохим, не заметив этого, но слыша впереди себя треск и храп, промчался дальше, кинулся на него сзади, пропорол ему клыками икры обеих ног и, когда тот падал ему на спину, успел еще прохватить сзади полушубок и бешмет.

Еще один момент, и все было бы кончено с Трохимом: разъярившийся зверь выпустил бы ему кишки и втоптал бы его тело в трясину, но как раз в этот-то момент и раздался выстрел Терентия.

Пуля его вонзилась как раз в свирепый маленький глаз кабана, и тот рухнул, убитый наповал. Он оказался длиною в сажень.

— Чи ты живой, Трохим? — испуганно поднял товарища Терентий.

— А хибя ж неживой, як я тэбэ бачу? — ответил Трохим.

Он старался держаться спокойно, но из пропоротых ног лила кровь, и Терентий принялся перевязывать его раны рукавами его же рубахи, наскоро отхваченными ножом.

— Ну, кого же мне теперь тащить до дому: чи тебя, чи кабана? — спросил, не на шутку задумавшись, Терентий, окончив перевязку.

— Шо-о? Менэ тягать? Щоб я сам не дойшов до дому?.. Кабана тягай! — приказал Трохим.

Крепкую веревку на этот случай припас он заранее и теперь вытащил ее из своей сумки и даже сам помог Терентию продернуть ее под передние лопатки кабана и закрутить как надо, чтобы не сорвалась. Терентий потащил волоком тушу, а Трохим, стискивая зубы от боли, пошел за ним.

Пройдя так с четверть версты, оба устали, и Терентий сказал решительно:

— Черт с ним, с кабаном с этим, — авось никто его тут не украдет... А лучше уж я тебя тащить буду, Трохим, чтобы не сошел кровью.

Трохим сказал только:

— А хто ж нашего кабана вкраде? А вже ж не вкрадуть...

И Терентий, передохнув, взвалил его себе на плечи и принес на пост. Здесь перевязал его как следует чистыми тряпицами, а потом, взяв с собою трех казаков, пошел за кабаном.

Этот случай на охоте если не сделал еще его настоящим пластуном, то пододвинул его к пластунству уже довольно близко: пластуны начали брать его с собою в секреты.

VI

Недели через две, — это было уже в апреле, — сидел так в камышах в секрете Терентий один. На нем были теперь уже бешмет и папаха и вся прочая казацкая справа, хотя из самого бросового старья, выслужившего давно свои сроки и перелатанного на все лады.

Он сидел, как его уже научили пластуны, без движения несколько часов, выставив вперед штуцер, глаза и уши. Глаза, впрочем, мало что могли видеть около: ночь была мглистая, белый туман ползал над Кубанью и плавнями.

Ночное одиночество — скверная вещь; оно рождает совершенно

излишние думы о себе самом и нередко вызывает даже какую-то нудную жалость к себе, к своей незадачливо сложившейся или кем-то злобным, явившимся со стороны, изломанной жизни. А жизнь Терентия действительно сделала слишком крутой поворот для того, чтобы не вспоминалась неотбойно вот теперь, в камышах, в тумане, брошенная семья, с которой придется ли увидаться когда-нибудь?.. Он представлял очень ярко горластого станового пристава, который, может быть, заарестовал его жену, ведя дознание об убийстве барина Хлапонины... Вот она стоит перед ним, вытирая рукавом слезы, а он, развалившись на стуле, топаёт ногами и кричит на нее: «Говори, стерва, знала, что муж хочет убить барина?..» А что она может сказать, если она не знала? Он и сам-то «узнал» об этом только в самый последний день, во время гульбы... Жена изгорится, дети будут расти безотцовщиной... А сам он вот теперь сидит на корточках, слушает, как пыхтят, поплескивают, потрескивают камышинками, живут тысячью своих жизней плавни; и чем тут от других, вполне безобидных звуков может отличаться шорох психадзе, и как отличить их белесые вытертые черкески от этих белесых волн ползучего тумана?.. Тяжелеть и сами собой закрываться стали под утро глаза Терентия, когда вдруг совсем близко, около, почувствовался чужой человек, враг, — скорее по крепкому запаху чехартмы, чем по хрусту камыша под ногой. И едва успел Терентий поднять голову, вытянув при этом шею, как свистнуло что-то и кинулось к нему змеей, и не успел он спустить курка штуцера, как шею его уж затянула тугая петля волосяного аркана, и он упал лицом вниз, в сырой камыш.

Кое-как, часто и с большим трудом делая самое важное, что было теперь нужно, дыша носам, но лишенный возможности крикнуть от сдавившей гортань петли, Терентий чувствовал только, что из рук его вырвали штуцер, сняли потом пояс с кинжалом, патронташем и прочим добром, протащили несколько вперед точно так же, как он сам недавно тащил на веревке убитого кабана, наконец стали вязать ему руки назад и только после этого сняли аркан и, не успел еще он отдышаться, закрутили рот какою-то вонючей тряпкой, чтобы он не вздумал кричать, поднимать тревогу.

Потом его повели на том же аркане, как быка, и к рассвету он был уже

довольно далеко от Кубани. Психадзе было шесть человек. Они очень оживленно и весело говорили между собой на необыкновенно шипящем и свистящем языке, иногда беглыми пальцами щупая руки своей добычи и похлопывая по спине. Он видел, что они не чувствуют к нему злобы, что он для них вроде как бы хороший товар, и припомнил, что ему говорили пластуны о русских, попавших в плен к горцам: их продавали и покупали, как буйволов или ишаков, и они должны были работать под кнутом, как скотина.

Дошли, наконец, до аула, но тут уж совсем иначе отнеслись к Терентию сбежавшиеся черкесы. Женщины плевали на него, норовя попасть в лицо, и злобно кричали, сверкая черными глазами: «Шайтан гяур! Шайтан урус!..» Терентий подумал, что они, может, были вдовы тех, которые были убиты в ночных стычках с пластунами, иначе ничем не мог он объяснить себе их злобы... Крутились около мальчишки разных возрастов швыряли в него камнями и комьями грязи... Подростки молча подходили к нему только затем, чтобы изо всех сил ударить его кулаком, выбирая для этого места побольнее.

Хотя рот Терентию развязали еще не доходя до аула, но он старался молчаливо встречать этот град плевков и побоев; он только внимательно смотрел на лица кругом, на низенькие сакли с бычьим пузырем в окошках вместо стекла, на огромные деревья около саклей; на ручей чистой воды, бежавший по улице от фонтана... Этот последний особенно привлекал его внимание, так как ему сильно хотелось пить. Несколько раз обращался он к одному из тех, которые его полонили, огромному черкесу, с рыжей, видимо крашеной, бородой, кивая ему на этот ручей и открывая рот, но рыжему было не до того, — он был занят торгом и горячо толковал со стариками аула, всячески выхвалявая свою добычу как работника. Но, должно быть, просил слишком большую цену, — его так и не купили в этом ауле; зато один из психадзе понял Терентия, подвел его к фонтану, и тут он напился, наконец, подставив рот под трубку, из которой бежала холодная и чистая вода. Он пил долго, жадно, и это сильно его подкрепило.

Рыжебородый великан, как и думал Терентий, был за начальника шайки психадзе, — остальные относились к нему почтительно.

Привлекал внимание Терентия огромный кинжал, висевший у него на поясе, кинжал, больше похожий на какой-то сказочный меч. Глаза у этого рыжего были зеленые и поблескивали, как осколки бутылочного стекла на солнце.

Прошли еще два небогатых аула, и уж совсем к вечеру, все дальше уходя в горы, пришли в большой и по виду зажиточный, где рыжий надеялся, очевидно, сбыть пленника по дорогой цене. Он уже остался при Терентии сам-друг с каким-то невзрачным, до того худощавым, что провалились щеки. Остальные четверо разошлись.

Сакля, в которой ночевали они, принадлежала, должно быть, этому бесщекому, но она была пустая — ни жены, ни детей. Терентий припомнил, что ему рассказывали пластуны: психадзе были из самых бедных черкесов, не имевших даже коней, а жена в черкесском быту стоила подороже среднего коня...

Терентию дали пожевать кусок сухого чурека, дали кружку воды, потом расположились спать на грязном глиняном полу, беспокойно, поглядывая сквозь двери сакли на небо, в котором кружились как-то совсем необычайно очень темные тучи... Не прошло и получаса, как началась первая весенняя гроза и пошел ливень.

В небольшом окошке не было даже и бычьего пузыря, то и дело озарялась убогая внутренность сакли яркими вспышками молнии, за которыми тут же грохотал такой гром, что как будто разверзалась земля, раскалывались на части горы.

Что ожидало Терентия впереди, если таково было начало? Беспросветное рабство, может быть, сперва в этом ауле, но потом непременно где-нибудь в другом, гораздо более далеком, куда он был бы перепродан, как ишак. Забьют в колодки или закуют ноги, чтобы он не убежал, и будет он каторжником всю свою жизнь...

Руки у него и теперь были связаны назад, на ногах же лошадиные путы. Лежал он на спине; спать не мог. В окошко то и дело врвался яркий блеск молнии и грохот грома. Сквозь плохую крышу пробивался и капал дождь.

Черкесы тоже не спали. Оба они разлеглись ближе к двери, точно опасаясь все-таки, как бы их пленник не убежал даже и связанный. Они о чем-то вполголоса говорили на своем очень трудном для

произношения языке, в котором согласным звукам отдано решительное предпочтение перед гласными, отчего Терентий слышал только шип и хрип.

Так как он лежал на куче сора, подметенного к внутренней стене, то пальцы его связанных рук, погрузившись в этот сор, начали перебирать его и неожиданно наткнулись на толстый гвоздь...

Бывает так, что утопающий, схватившись даже и за соломинку, почувствует в себе прилив новых сил, который его и спасает. Гвоздь, попавший в связанные руки Терентия, показался ему такой ошеломляющей удачей, таким дорогим подарком только что сыгравшей с ним злую шутку судьбы, что он от радости немедленно захрапел во всю саклю.

Успокоенные его храпом, заснули и черкесы, а он, действуя острием гвоздя, терпеливо перерывал по волокнине веревку около узла.

Больше часу тянулось это кропотливое дело, но вот, наконец, руки его стали свободны; однако они затекли, набрякли; им нужно было дать время почувствовать себя прежними сильными руками. И он пролежал еще минут двадцать, пока принялся развязывать путы на ногах; это уж не отняло много времени.

В сакле было темно, хоть глаз выколи, и только при вспышке молнии она освещалась. Терентий мог уже бежать, но как было переступить через сонных черкесов, чтобы они не услышали этого?..

Вот тогда-то Терентий и вспомнил про этот длиннейший, как старинный меч-кладенец, кинжал на поясе рыжего. Осторожно, попластунски подобрался он к этому кинжалу и вытащил его из ножен. Очевидно, рыжий великан спал очень чутко, он тут же проснулся и забормотал что-то, схватив его за руку. Терентий наугад сунул острие кинжала в направлении к его бороде и почувствовал, что кинжал вонзился сквозь эту бороду в горло. Великан захрипел, заклохтал и утих. Но тут закричал проснувшийся от возни рядом другой черкес и схватил Терентия за грудки неожиданно цепкими руками. Этому лезвие кинжала пришлось под ложечку. Он повалился навзничь, как разглядел Терентий при новой молнии, и затих тоже.

Пленник, хотя и без шапки, но зато с длинным кинжалом, выскочил из сакли и оказался на свободе под проливным дождем, в горском ауле,

совершенно не зная, в какую сторону от него Кубань, в какую — Кавказские горы. Он соображал только одно, что ему надо за остаток этой страшной ночи как можно дальше уйти от аула, откуда наутро можно было ожидать погони на лошадях, может быть даже и с собаками.

Когда его подводили к этому аулу, он, конечно, делал про себя приметы дороги, но теперь, в темноте, в дожде, шел наобум, куда несли ноги. Дороги никакой не было, ни даже узеньких и коварных тропинок, таких, как в плавнях; ноги то и дело обрывались, и он часто падал, потому что торчали кругом какие-то скользкие большие камни, густые кусты, а от них вниз, почти отвесно, валились какие-то стремнины, кручи и шумные потоки дождевой воды.

Идти было некуда, идти было нельзя, идти было нужно... И Терентий все время, всю эту ночь двигался куда-то, карабкался, падал, боясь только поранить себя острым кинжалом, который все время держал в руке, так как ножны остались на поясе черкеса.

До такой степени невероятным ему самому казалось то, что он делал и что с ним делалось в эту ночь, что ему время от времени думалось, что он спит, и спит именно там, в сакле, вместе с черкесами и видит такой ни с чем не сообразный сон.

Никакой одежды на себе он не чувствовал, — так она промокла; на ногах у него были постолы, теперь, раскисшие от воды, они не давали никакого упора ноге, и он скользил в них, как на коньках... Наконец, совершенно выбившись из сил, свалился он куда-то в овраг, по дну которого катился, бушуя, поток, и там лег: ему стало все равно, — хотя бы ожили и очутились сейчас перед ним оба черкеса.

Так он пролежал здесь до утра. Он был совершенно разбит, все тело в синяках и ссадинах; усталость была непомерна; хотелось есть; а между тем это было только начало его обратного пути на родину, на Кубань, в Россию. Но даже и когда наступило утро, он все-таки, сколько ни глядел по сторонам, не мог решить, куда ему надо идти, чтобы выйти к Кубани. Кругом оказался лес в горах, и никакого аула отсюда не было видно.

Восемь дней потом скитался Терентий по горным лесам с огромным черкесским кинжалом в руках, но без куска хлеба. Он думал в первый день, что уж в чем он не будет нуждаться, так это в воде; однако если и попадались часто потоки в первый день, то это только благодаря ливню ночью, но сбежала дождевая вода, и на горах стало сухо.

По солнцу определил он, в какую сторону ему надо было идти, — где север, плавни, Кубань, — но опасение выбраться снова к какому-нибудь аулу заставило его забраться в чащобу и глушь. Тут он вытащил из тела колючки держи-дерева, которых достаточно нахватал ночью, просушил платье и постолы, а так как морил его от усталости сон, влез на разлатое дерево и на нем уснул.

Перемахнуть к Кубани, к своим пластунам, он думал за вечер и ночь, но с направления скоро сбился и на другой день очутился в лесу еще более густом и глухом. На одной лужайке около болотца он нашел щавель и сжевал горсти две, но это и было все, что мог найти в апрельском лесу на горах, чтобы хоть немного заморить червяка. Только на третий день встретился он с людьми: это были два чабана, видимо подпаски, ребята лет по двенадцати. Оба они спали, раскинувшись на солнечном пригреве. Их отара овец и коз вместе с собаками отошла от них достаточно далеко. Терентий решился попытать счастья: подползти к спящим и взять их торбу, полуприкрытую буркой.

Он полз так старательно и бесшумно, как может ползти только дикая кошка и самый опытный пластун; а когда торба была уже в его руках, он захватил также и бурку, потому что сильно мерз по ночам. Опасаясь, как бы не проснулись чабанята и не хватились пропажи, Терентий уходил от них с наиболее возможной для него, голодного и усталого, быстротою, но при этом круто взял на юг, потому что деревья в ту сторону были гуще.

Добыча оказалась скудной — всего четыре кукурузных лепешки, но проголодавшийся Терентий съел их все сразу, и это подкрепило его еще на несколько дней блужданий.

Когда он вышел, наконец, к какой-то реке, он был уже настолько слаб, что не надеялся переплыть на другой берег. И нужно ли было переправляться на другой берег и что это была за река, он не знал.

Из гор он выбрался, это было видно, но в какую сторону: к русским ли? Может быть, еще дальше вглубь к черкесам?.. Берег же был совершенно пустынен и весь зарос камышом, из-за которого трудно было разглядеть, что там, на другом берегу, на вид тоже каком-то необитаемом.

Терентий опасливо продвигался, еле переставляя ноги, которые были теперь уже босы и поранены: постолы сползли с них в лесу, совершенно протершись. Он вглядывался в противоположный берег, чтобы разглядеть на нем что-нибудь живое, и, наконец, увидел вышку казачьего поста, а рядом с нею разглядел даже и шест, обкрученный соломой, — «маяк»...

Он широко перекрестился и заплакал... Но едва он вошел в воду, чтобы плыть к своим, как увидел, что его несет по течению, что вода тут очень быстра, он же слаб — не переплывет, потонет в виду своих...

Кое-как он выбрался снова на берег, пробовал кричать, но видел, что там, на посту, его за дальностью расстояния не услышат. Тогда-то и пригодился ему кинжал, с которым он не расставался. Он нарезал им два толстых снопа камыша, обрывками рубахи связал их покрепче, потом привязал их с обеих сторон подмышки, как привязывают бычьи пузыри, и поплыл. Река понесла было его снова, но теперь уже он мог кое-как противиться силе воды, и его прибило, наконец, к другому, русскому берегу.

Сторожевой казак с вышки его заметил; вызванные им с поста люди подходили к Терентию, когда он, утомленный борьбой с течением, сидел отдыхая.

Он потянулся к ним радостно, как к родным, но казаки глядели на него серьезно и безулыбочно. Он рассказал им, с какого поста пошел он в секрет, когда был заарканен полдюжиной психадзе, но они, слушая его, переглядывались недоверчиво. Отойдя в сторону от него, один сказал другим:

— То вже мені видать, хлопці, це ж якийсь біглий москаль!

— А вже ж, біглий москаль, — поддержал другой, а третий добавил:

— Треба його зараз до начальства, хай воно розбере, відкиля він утік.

И Терентия, успевшего за время скитаний растерять небольшой запас

усвоенных им было украинских слов и потому принятого за русского солдата, бежавшего к горцам, а потом снова вздумавшего перебежать назад к своим, повели к начальству.

Когда это понял Терентий, очень обидно стало ему, что вот именно теперь, когда он спасся, вырвавшись из неволи, свои же люди не дают веры его словам... Притом же начальство, к которому его вели, тоже могло быть всякое и, может быть, вместо поста, на который привык смотреть он как на свой, отправит его в тот самый екатеринодарский острог, обнесенный дубовым частоколом.

Но тут судьба решила сжалиться, понатешившись над ним и без того вволю: он вдруг заметил около помещения начальника, к которому его вели на допрос, не кого другого, как самого Трохима Цапа.

— Трохим! — крикнул он, кидаясь к нему.

— Ой, боже ж мій! Ой, лішечко! — завопил Трохим, открывая ему дюжие объятия и чуть не плача от радости. — Як з того світа прийшов! Дальше уж не пошли казаки, а скоро около Терентия собрался весь пост этот, который был верстах в тридцати от знакомого ему поста. Несмотря на то, что Терентий говорил по-своему, по-курски, слушали его внимательно, а когда дело дошло до кинжала, который тут же начал ходить по рукам слушателей, больших знатоков этого вида оружия, то Трохим, хлопнув дружески по спине рассказчика, не удержался, чтобы не крикнуть и не бормотнуть:

— Ну-ну! Да цьому хлопцу и ціны немає!

Подошел к кружку и начальник, к которому хотели вести Терентия на допрос, — молодой хорунжий, — выслушал, как он попал в плен и как спасся, и подарил ему три карбованца на одежду. Только тогда увидели казаки, что арестованный было ими почти что голый, что на нем были только мокрые spodники, и кто начал развязывать свой кошель, кто пошел на пост за рубахой для него, за шапкой, за постоломи...

Узнал от Трохима и Терентий, как он попал, — очень кстати, конечно, — на этот пост. Оказалось, что с поста на пост доставлялся казенный пакет насчет набора двух рот охотников из пластунов на пополнение тех двух батальонов, которые пришли в Севастополь в начале осады; Трохим и привез сюда этот пакет.

— Идешь охотником? — с загоревшимися глазами спросил его Терентий.

— Чому ж нэ йти, як треба? — ответил Трохим.

— И я буду проситься! — тут же решил Терентий. — Авось возьмут, а?

— Дурны воны чи що, — такого хлопца не взять? — ответил Трохим.

Дня через два, когда добрался до своего поста вместе с Трохимом Терентий, вопрос этот был решен и начальством: Терентий не то чтобы зачислялся в список пластунов-охотников, однако же отправлялся в Севастополь вместе с ними. Он, правда, не получил казенного штуцера, но его обнадежили, что получит его там, на месте, где штуцеров гораздо больше, конечно, чем на кордонной линии на Кубани.

Глава седьмая. Пасхальная канонада

I

Австрийские дипломаты, как хитроумные маклеры, составили, а Николай принял четыре статьи, которые должны были лечь в основание переговоров о мире между Россией и интервентами. Однако приступить к переговорам западные державы не решались: не было на их руках больших козырей, необходимых для верного выигрыша в каверзной дипломатической игре.

Смерть Николая несколько подвинула вперед дело, так как на Западе появилась уверенность в миролюбивых настроениях, уступчивости и вообще слабости нового царя. Дипломаты зашевелились, и наибольшую среди них энергию начал проявлять граф Буоль, австрийский министр иностранных дел. Разговоры, которые вел Александр с австрийским эрцгерцогом Вильгельмом, приехавшим в Петербург на похороны Николая, убедили Буоля в том, что время для ловли им рыбы в мутной воде настало, а конференцию заранее решено было вести в Вене и под его председательством, так что австрийские интересы не могли понести никакого ущерба.

Представители воюющих держав съехались в Вене в начале марта, причем и старый Джон Россель, и турецкий министр Али-паша, и

министр Франции Друэн де Люис были твердо убеждены в том, что если пока еще нет у союзных армий в Крыму крупных решающих успехов, то они не замедлят прийти еще до наступления апреля; между тем вполне в их воле было растянуть заседания конференции до того вожаделенного момента, когда они получили бы возможность говорить с русскими уполномоченными — князем Горчаковым и Титовым — в полный голос.

Александр Михайлович Горчаков — посланник при венском дворе, бывший лицеист, одного выпуска с Пушкиным, получил, разумеется, указания от канцлера Нессельроде, как и что ему отстаивать на конференции, но сам по себе он был одним из талантливейших русских дипломатов, и Александр уже прочил его в заместители престарелого Нессельроде, которым был притом же недоволен за его австрофильство.

Венские конференции начались в половине марта, и, хотя представители Англии, Франции и Турции не имели желания спешить, все же довольно быстро решены были два первые вопроса: о судьбе трех княжеств, ранее бывших под господством Турции, — Молдавии, Валахии и Сербии, — и о свободе судоходства по нижнему Дунаю.

То, что Николай и Нессельроде называли «попечением России об исполнении обязанностей, принятых на себя Портой в отношении Сербии, Молдавии и Валахии», не вызвало больших разногласий. Горчаков — человек подкупающей внешности, мягких манер, большой светскости и опытности в дипломатической работе — в самых спокойных выражениях заявил, что Россия будет даже рада разделить эту обязанность с прочими державами, которые поручились бы за то, что никаких притеснений со стороны Порты княжества не будут испытывать.

Через несколько дней так же легко был решен вопрос о свободе судоходства на Дунае. Но зато, чуть только конференция дошла до обсуждения третьего пункта, все участники ее увидели, что зашли в тупик, из которого выхода не было.

Этот третий пункт обсуждался в Севастополе гораздо более громогласно и открыто непрерывным в течение полугода ревом тысячи орудий разных калибров: третий пункт включал в себя один из

наиболее жизненных для России вопросов — о праве на обладание Черным морем и свободе выхода из него.

Правда, пункт этот был выражен несколько менее категорично, а именно: «Пересмотр лондонского договора 1841 года о закрытии проливов с целью обеспечить независимость Оттоманской империи и, в видах европейского равновесия, положить конец преобладанию России на Черном море», но выразители мнения правящих кругов на Западе — газеты — давно уже разбалтывали подлинный смысл этой туманной фразы: уничтожить Черноморский флот и стереть с лица земли Севастополь.

Конференция решила, ввиду неопределенности положения в Крыму, оставить пока этот трудный пункт и перейти к четвертому, целью которого было отстранить Россию от права покровительства христианам — подданным султана.

Однако этот четвертый пункт оказался в такой тесной связи с третьим, что уполномоченные ни до чего положительного не могли договориться, и конференции были прерваны на неопределенное время.

Это не понравилось прежде всего деятельному посреднику договаривавшихся противников, графу Буолу, и он сказал с оттенком раздражения Горчакову:

— Не понимаю, почему русское правительство так упорствует: ведь все равно рано или поздно, но Севастополь будет сбит артиллерийским огнем!

Он даже сделал при этом энергичный жест рукою, но Горчаков ответил улыбаясь:

— Что касается меня лично, то Севастополь напоминает мне бороду, которую чем больше бреют, тем она гуще растет.

II

Что союзниками решено было «сбрить» Севастополь не позже, как в апреле, это была правда, и это решение известно было и при тюильрийском и сент-джемском^{83} дворах и в штабах главнокомандующих трех союзных армий: Канробера, Раглана и Омера-паши.

Турецкие силы в Крыму выросли в марте до сорока тысяч штыков, но ожидалось и еще войска из Египта, так что настало, наконец, время, когда турок, из-за которых загорелся сыр-бор европейской войны, стало уже вдвое больше на русской территории, чем англичан, зачинщиков войны, но зато французов было вдвое больше, чем турок; кроме того, они ожидали со дня на день прибытия больших подкреплений. Между тем армия Горчакова была ровно вдвое меньше армий интервентов: крепостного гарнизона и полевых войск под Севастополем у него было только семьдесят пять тысяч. Он поджидал, правда, помощи из Южной армии, но в Петербурге боялись оголять западный фронт, так как старый и больной фельдмаршал Паскевич все бредил наступлением Австрии и восстанием Польши и настаивал на образовании на западе еще одной — Средней армии; а к интервентам тем временем плыл уже пятнадцатитысячный корпус четвертого союзника — Сардинии.

Но если так велик оказался численный перевес, то еще значительнее был перевес в снабжении армии союзников боеприпасами.

Прежде всего как англичанам, так и французам было доставлено много новых осадных орудий: к англичанам прибыли 64-фунтовые пушки, к французам — 24 — и 30-сантиметровые, и с громадной щедростью заготовлены были снаряды для окончательной, решительной, всесбрывающей бомбардировки: у французов по восемьсот ядер на каждую пушку и по пятьсот — шестьсот гранат и бомб на гаубицу и мортиру; у англичан, — поскольку роль их была гораздо менее значительна, — по пятисот ядер на орудие и по триста бомб на мортиру.

Всего установлено было на батареях интервентов без малого пятьсот осадных орудий — зрелище, невиданное до того в истории осады крепостей.

В полную меру своих сил и возможностей теперь, с наступлением весны, работал союзный паровой флот, подвозя на Херсонесский полуостров все, в чем могли бы нуждаться войска интервентов, так что лагеря их приобрели уже вполне хозяйственный обжитой вид. Даже у англичан между палаток теперь уже не валялась падаля, а французы около своих барачных корпусов пустились разбивать огороды, а кое-

где даже и цветники, тем более что в их лагерь приехало много женщин.

Это были не сестры милосердия, не маркитантки, не кантиньерки. Они не содержались правительством и не выходили в строй, как кантиньерки, представлявшие особенность французской армии с давних пор, воспетые еще Беранже.

Кантиньерки были большей частью женами унтер-офицеров, состояли на службе, получали жалованье, носили мундир полка, в котором служили, на смотрах и парадах имели свое место во фронте, должны были, наконец, идти и в сражение со своими фляжками рома, коньяку, абсента и с корзинкой, в которой, кроме хлеба, были и бинты, и корпия, и вода — все нужное для облегчения участи раненых в первые минуты. Во время боя кантиньерки поднимали дух бойцов одним только своим присутствием на поле сражения... Но женщины, приехавшие в немалом числе в совершенно безопасный лагерь французов, хотя и появились тут тоже с дозволения начальства, но знаменовали скорее уверенность в близкой победе над русскими, в блистательном окончании затянувшейся войны, в необходимости отпраздновать завершение долгих усилий возможно полнее...

На место лошадей, работавших по перевозке на позиции орудий и снарядов и в огромном числе погибших за осень и зиму, теперь доставлены были огромные, слоноподобные першероны и клейдесдалы; дороги были приведены в полную исправность, и даже делались инженерами изыскания для проведения железной дороги от Балаклавы к Сапун-горе.

В лавках маркитантов как во французском, так и в английском лагере не было недостатка не только в вине различных сортов и марок, но и в консервах, запечатанных в изящные жестянки, не только в белье, чулках, поясах, но и во всех вообще предметах галантерейной торговли. И Камыш, и Балаклава, и некоторые другие густо населенные войсками тыловые пункты, расцветая под весенним солнцем, все больше и больше забывали напасти и беды зимней кампании, устраиваясь со всеми удобствами, как города подлинных завоевателей, привыкших уже чувствовать себя в Крыму, как у себя дома.

В то время как в Петербурге, — во дворце и в военном министерстве, — все еще опасались движения турецких дивизий от Евпатории на Перекоп или на Симферополь с тем, чтобы отрезать Крымскую армию и запереть ее, главнокомандующие Канробер и Раглан видели единственный способ дальнейшего ведения войны только в бомбардировке и затем в победоносном штурме, полагаясь более на силу своих орудий и на огромные запасы снарядов, стоимость которых у одних только французов превышала семь с половиной миллионов франков.

Правда, это чересчур сужало довольно широкие по первому замыслу цели войны: один Севастополь с небольшим, прилегающим к нему клочком берега моря был далеко еще не Крым, который полгода назад предполагали занять в две недели банкиры Сити, но зато это был бы все-таки какой-то успех.

И как за опущенным занавесом на сцене театра во время антракта кипит оживленная деятельность, стучат молотки плотников, устанавливается новая мебель, меняются декорации, — так за мелкими аванпостными стычками, за повсеночной борьбой из-за ложементов, за подземной минной войной, наконец за обычной траншейной работой, явно ведущейся, начиная с первых дней осады, скрывалась лихорадочная подготовка к бомбардировке, перед которой должна была побледнеть октябрьская.

Перебежчики из стана интервентов в марте были уже не так часты, как зимою, но все-таки их было довольно, и однажды, когда один из них, француз, шел в сопровождении русского офицера на допрос в штаб начальника гарнизона Остен-Сакена, он удивился тому, что улицы Севастополя довольно оживленны, что на них встречаются даже хорошо одетые женщины...

— Что это за женщины? Кто они? — удивленно спросил перебежчик у своего спутника.

— Да ведь достаточно офицерских семейств осталось еще здесь, — ответил тот.

— Как так остались? Зачем? Чтобы быть убитыми или изувеченными совершенно напрасно?.. Боже мой! Ведь вы знаете, какая бомбардировка у нас готовится! Это будет для Севастополя день

страшного суда, но только в большом виде!

III

Однако еще в начале марта, когда Горчаков только ехал в Крым из Кишинева, Остен-Сакен доносил ему о том, что ожидает «томительного и убийственного бомбардирования сосредоточенными выстрелами огромного числа и огромной досягаемости орудий и ракет, к чему приготовлено у них неслыханное в осадах число снарядов. У нас пороху недостаточно для противодействия, наши снаряды будут направлены только на батареи и прислугу в амбразуры; войска же их станут вне черты досягаемости, тогда как наших войск некуда отвести, исключая некоторой их части в блиндажи. Неприятель, по мнению моему, — заканчивал уныло Сакен, — может решиться на приступ, ослабив гарнизон бомбардированием или сделав бреши».

Горчаков вскоре после прибытия в Севастополь убедился в том, что Сакен ничего не преувеличил; поэтому, ожидая со дня на день бомбардировки, он готовился, насколько был в силах, ее встретить, для чего и стремился ложементы впереди редутов обратить в непрерывные траншеи, в траншеях же этих заложить новые батареи. Даже впереди Камчатского люнета, после вылазки в ночь с 10 на 11 марта, приказано было ложементы обратить в траншеи, кроме того, протянуть траншеи в обе стороны от Камчатки — к Килен-балке и к Доковой балке, и каждую из этих траншей вооружить одну мортирной, другую орудийной батареей.

Отнюдь не назначавшиеся для борьбы с большей половиной Европы запасы севастопольского адмиралтейства все-таки оказались настолько внушительны, что позволяли севастопольской «бороде» расти гуще, чем это было бы желательно интервентам.

Правда, при этом еще разоружались и суда боевого флота, но Севастополь по существу состоял из трех сторон: Южной, или собственно городской, Корабельной и Северной. Каждая из этих сторон представляла особую крепость, разобщенную от других бухтами; и если Северной стороне пока еще не угрожал неприятель, все-таки она должна была вооружаться для защиты в будущем и вооружалась. Начало этому было положено Меншиковым, —

продолжалось это и при Горчакове; исподволь Северная сторона, с прилегающими к ней Инкерманом и Мекензиевой горой, превращалась в сильную и гораздо более современную крепость, чем внезапно, на глазах и под выстрелами противника выросшие бастионы Южной и Корабельной сторон.

Севастопольский порт, конечно, только казался неистощимым, но хранившиеся в нем, например, запасы пороха давно уже иссякли, не хватало также и снарядов, и приказано было отвечать одним выстрелом на два неприятельских; не хватало и много другого в материальной части; но было в Севастополе то, что дороже и важнее иных запасов: несокрушимый дух войск.

Это обстоятельство не учтено было политиками Англии, когда они начинали войну с Россией. Они знали императора Николая, тем более что он приезжал за десять лет до войны в Лондон и показался там во весь свой рост; но разве имели они понятие о простом русском солдате, рядовом девятой роты Камчатского егерского полка Егоре Мартышине?

Во время Дунайской кампании в одном сражении было довольно много раненых, и небольшой перевязочный пункт переполнился до отказа. Тут заметили невысокого и немолодого солдата, который раза три подходил к дверям и заглядывал в операционную, но потом однообразно махал рукою и уходил. Лицо его было в крови, но серые усталые глаза смотрели сквозь это кровавое кружево спокойно.

Когда работа в операционной подходила уже к концу, один свободный врач вспомнил о нем и послал за ним санитаря вдогонку, как только он, еще раз заглянув в дверь, повернулся снова назад. Санитар привел раненого.

— Что у тебя такое, дружище? — спросил его врач.

Солдат только показал на свою щеку и открыл рот: говорить он не мог. Оказалось, что турецкая пуля пробила ему щеку и застряла в языке, отчего язык сильно распух и перестал ворочаться.

— Как же это пуля тебе в рот попала? — спросил врач, и за раненого ответил, улыбаясь, другой солдат, которому только что перевязали руку и ногу:

— Да ведь он, ваше благородие, песенник у нас... Шли, значит, в

атаку, он и запой:

Эх, зачем было город городить,

Да зачем было капусту садить...

Известно, песня веселая, — под нее людям бойчее идетя... И турки, конечное дело, по нас залпом дали...

Когда пулю вырезали, и опухоль языка несколько опала, спросили раненого песенника, почему он раза три подходил к дверям перевязочного и все уходил обратно.

— Да ведь стыдно было, — с усилием ответил тот. — У других — раны, а у меня — что? Я и пообождавать мог.

Этот солдат был Егор Мартышин.

Лежали камчатцы-охотники в ложементах перед своим многотрудным люнетом в начале марта. Шагах в двустах от них в подобных же ложементах лежали французы... День стоял теплый. Сильно пахло свежей травой и парной землей... Перестрелка шла вяло, так как незачем было тратить заряды ни тем, ни другим: ложементы были устроены хорошо: противники за насыпями не могли друг друга прощупать пулями.

Но вдруг какому-то зайцу вздумалось промчатся между ложементами во всю прыть своих ног, и один солдат-камчатец его заметил, прицелился и выстрелил. Заяц подпрыгнул на месте так высоко, что всем стало видно его из-за козырьков ложементов, и, грохнувшись о землю, лег неподвижно.

Солдат, его подстреливший, встал со штуцером в руке и снял фуражку. Это был у него как бы некий парламентарский жест, обращенный к французским стрелкам, дескать: «Разрешите, братцы, зайчика подобрать, так как, выходит, это ведь не то чтобы война, а чистая охота...» И жест этот был понят как нельзя лучше.

Своеобразное перемирие установилось вдруг между стрелками с той и с другой стороны, пока камчатец добежал до зайца, взял его за задние ноги, показал французам и неторопливо побежал на свое место в ложементах, из-за которых высунулось поглядеть на него много улыбающихся лиц.

Только когда улегся он снова рядом со своей добычей, раздалось несколько выстрелов со стороны французов, но больше для

проформы.

Этот солдат-камчатец был тот же Егор Мартышин.

— Как же ты так отчаялся подняться, Мартышин? — спрашивали его потом одноклассники.

— Да что же я?.. Конечно, само собой, подумал я тогда: «Не оголтелый же он, француз, должен понять, думаю, что и я бы в него не стрелял в таком разе: ведь я не ему вред доставил, а только зайцу... А раз если заяц, выходит, стал мой, то должен я его забрать или нет?»

— Ну, братец, турок бы тебе не спустил! — говорили ему.

— Об турке и разговору у меня нет, — спокойно отозвался Мартышин.

— Турок, известно, азиат, — он этих делов понять не может.

Назначен был командиром батальона в Камчатский полк на вакансию майор из другого полка и в первый же день накричал на одного солдата своего батальона. После выяснилось, что совсем незачем было на него кричать, но майор был человек горячий, и перестрелка на Малаховом, где это было до постройки еще Камчатского люнета, велась в то время жаркая.

Однако не прошло и пяти минут, как тот же самый обруганный майором солдат бросился на него со зверской, как ему показалось, рожей, сгреб в охапку, свалил подножкой и прижал к земле. Он ворочался, пытаясь сбросить с себя солдата, но тот держал его крепко, глядел страшно и бормотал что-то...

Вдруг оглушительный раздался взрыв рядом, повалил душный дым, полетели осколки: разорвался большой снаряд.

Тогда солдат встал сам и потянул за рукав шинели своего начальника:

— Извольте подниматься, вашсокбродь: лопнула!

Только теперь догадался майор, что солдат не из мести за окрик бросился на него, а просто спасал его от не замеченной им бомбы, которая упала, вертелась и шипела рядом с ним.

— Как твоя фамилия? — спросил майор, поднявшись.

— Девятой роты рядовой Мартышин Егор, вашсокбродь! — ответил солдат.

— Что же это ты, ничего мне не говоря, прямо на меня кидаешься, и подножку... и рожу зверскую сделал, а?

— По недостатку время, вашсокбродь.

Майор пригляделся к своему спасителю, обнял его, вынул потом кошелек, достал старый серебряный рубль времен Екатерины:

— На вот, спрячь на память, а к медали тебя при первом случае представляю.

— Покорнейше благодарим, вашсокбродь! — как бы и не за себя одного, а за всю девятую свою роту ответил Мартышин.

А в середине марта он не уберегся от французского ядра сам, — правда, ядро это залетело в траншею Камчатки и нашло его там среди многих других.

Он как раз полез в это время в левый карман шинели за табачком, ядро, разmozжив и оторвав кисть левой руки, раздробило также и ногу около паха... Не только товарищи его по траншее, но и сам он видел и чувствовал, что этой раны пережить ему уже не суждено.

Однако потерял ли он при этом присущее ему спокойствие? — Нет. Когда положили его на носилки, чтобы нести на перевязочный пункт на Корабельную, он нахмурился только потому, что за носилки взялось четверо.

— Я ведь легкий, — сказал он, — да еще и крови сколько из меня вышло... Так неужто ж вдвоем меня не донесут, а? Если с каждым, кого чугунка зацепит, по четыре человека уходить станет, то этак и Камчатку некому будет стеречь!

А когда остались только двое, он просил их пронести его вдоль траншеи проститься с товарищами.

— Прощайте, братцы! — обратился он к своим одноклассникам. — Отстаивайте нашу Камчатку, — ни отнюдь не сдавайте, а то из могилы своей приду, стыдить вас стану!.. Прощайте, братцы, помяните меня, грешного!.. Вот умираю уж, а мне ничуть этого не страшно, и вам, братцы, тоже в свой черед не должно быть страшно ни капли умереть за правое дело... Одно только больно, что в своей траншее смерть застигла, а не там, — показал он правой рукой на французские батареи.

Тут же отыскал он этой здоровой рукой спрятанный им майорский подарок — екатерининский рубль — и передал его одному из тех, кто держал носилки, — солдату своей роты Захару Васильеву, говоря:

— Это даю тебе, брат Захар, чтоб ты, как принесете вы меня на перевязочный, живым манером священника там разыскал исповедать меня, приобщить, потому как дохторам уж со мной нечего возиться... Рупь этот самый от меня священнику и дай!

IV

Против Южной (городской) стороны осадные орудия интервентов были поставлены так густо, что на каждые двадцать шагов по дуге приходилось по орудию.

Секретом для Севастополя это не могло быть благодаря пленным и дезертирам, и не было. Но если по количеству орудий большого калибра, выставленных на защиту Южной стороны, севастопольцы мало уступали интервентам, зато снарядов как сплошных, так особенно пустотелых, имели меньше в пять-шесть раз; пороха же для зарядов было так мало, что решено было в случае крайности добывать его из ружейных патронов, находящихся на складах.

От артиллерийского огня в начале осады было очень много жертв из-за отсутствия блиндажей; это припомнили, и теперь приказано было усиленно строить блиндажи, разбирая для этого все полуразрушенные здания, начиная с морского госпиталя. Доски из разобранных домов шли также и на устройство и починку орудийных платформ.

К концу марта очевидны стали итоги неустанных трудов: блиндажей было уже столько, что в них можно было укрыть до шести тысяч человек, то есть почти пятую часть севастопольского гарнизона, что было очень важно, так как большие резервы необходимо было держать вблизи бастионов и редутов ввиду штурма, в котором никто в Севастополе не сомневался.

Неизвестно было только одно: какой день выберут союзные главнокомандующие для начала канонады.

Подходил праздник пасхи; в этом 1855 году он совпадал по времени у русских и у французов, между тем по всем признакам приготовления интервентов к «дню страшного суда в большом виде» заканчивались: Христос оставался Христом, канонада должна была быть канонадой.

Перед праздником матросы и солдаты даже и бастионы, досыта напоенные кровью, прибрали, приукрасили, как могли... Даже

подмели их метлами из фашинника, даже песочком посыпали!.. В блиндажах стремились соблюдать торжественность; щедро покупали копеечные свечи и втыкали их в подсвечники перед иконами... В четверг на страстной неделе не только в уцелевших еще церквах севастопольских, но и на бастионах и в блиндажах читались «двенадцать евангелий» и раздавался в городе колокольный звон.

Как раз в это время поднялась усиленная пальба против третьего бастиона: это англичане решили, что настал удобный момент штурмовать ложементы перед третьим бастионом — Большим Реданом, единственным из севастопольских укреплений, овладеть которым они поставили себе целью.

Обстреляли; штурмовали ложементы, но были позорно отбиты... Не настал еще их час; но зато наступал день общесоюзных, почти общеевропейских усилий поставить Севастополь на колени: это был второй день пасхи — 28 марта (9 апреля).

Однако первый день пасхи праздновали как в лагере французов, так и в осажденном городе, причем в последнем особенно широко и самозабвенно.

Уже в субботу к вечеру совершенно неудержимым потоком ринулись на бастионы матроски к своим мужьям, их ребятишки к отцам, таща им на розговенье куличи, сырные пасхи, красные яички: это было «преддверие праздника»...

А ровно в полночь начался трезвон к заутрене, точно бы в любой Калуге или Пензе... Пальба из орудий, правда, была в это время тоже, но привычная, обычная, так же как и ружейная стрельба в ложементах, тоже обычная: звон колоколов не мешал перестрелке, перестрелка — звону...

В церквах городских, в госпитальной церкви на Северной, в Александровских казармах, где тоже была домовая церковь и где все множество окон было ярко освещено, сладкоголосо пели: «Друг друга обьем, рцем: братие! — и ненавидящим ны простим...» А снаряды с батарей летели, вычерчивая огненные дуги в темном ночном небе, и заведомо нельзя было, невозможно было простить «ненавидящих», приплывших на тысяче кораблей, чтобы истребить цветущий город и десятки, сотни тысяч людей в нем и перед его стенами убить или

изувечить...

В небольшом гарнизонном соборе собрались на пасхальную службу многие генералы с самым главнокомандующим во главе, парадно одетые офицеры, флотские и сухопутные... Очень плотно набит был ими весь этот старый, при Екатерине построенный собор... Христосоваться все подходили к Горчакову. Старик расчувствовался, троекратно лобызаясь с каждым из своих подчиненных, — ведь многих из них уже поджидала смерть; подслеповатые глаза его застилали слезы, а в памяти все вертелся афоризм либеральствующего министра государственных имуществ, графа Киселева, сказанный им когда-то в интимном кругу: «Два варварских обычая есть в России: запрягать четверню в карету и целоваться на пасху».

Около собора толпились с зажженными свечами и гарнизонные солдаты и женщины рядом с куличами и пасхами, принесенными на «освящение»; и мимо этих убого, но истово украшенных куличей и пасх двигалась толпа крестного хода, сияя золотом риз, эполет, орденов.

И было розговенье, как всегда, и пились праздничные чарки водки, казенные и покупные, а когда дождались дня, гуляли в обнимку по бастионам, пели песни, собирались в кружки и открывали пляс под визгливую матросскую скрипку; батареи же с той и другой стороны молчали. Возмущались даже искренне, что ружейная пальба из неприятельских траншей не унималась, но объясняли это тем, что ведут ее, конечно, нехристи-турки.

На бульваре Казарского с шести часов вечера загремела полковая музыка, и началось праздничное гулянье. Если бы кто-нибудь неведомо для себя и невидимой силой был бы перенесен сюда, на этот бульвар, он не мог бы поверить, что он в осажденном городе, после полугодовой осады и как раз накануне бомбардировки, небывалой в истории войн: так много было на этом бульваре весело болтающих и радостно смеющихся женщин... Откуда появились они здесь? Где таились раньше?.. Где бы ни таились, но Севастополь все еще был многолюден, и чуть празднично загремела музыка, на нее слетелись женщины в праздничных весенних костюмах, тем более что и день выдался солнечный, тихий, теплый и пахло не порохом дымом, а

морем, — море же весною пахнет, как только что разрезанный спелый арбуз...

Как много может внести изменений в сотни тысяч жизней всего одна только ночь! О том, что эти изменения готовятся, можно было только догадываться, да и то смутно, по какой-то довольно шумной деятельности в стороне неприятеля именно в эти ночные часы; шум этот мог быть объяснен и неугомонившимся праздничным весельем; но многим, слышавшим его, он казался военно-рабочим шумом, сгущенным благодаря туману, который в полночь надвинулся с моря.

Чуть рассвело, — ровно в пять утра, — с моря же взвилась и рассыпалась тревожными искрами ракета: это был сигнал к открытию канонады, данный с одного из кораблей интервентов; и выстрелы загревели сразу со всех сторон.

Но в густом белом тумане прятался проливной дождь, который и хлынул, чуть только началась канонада, точно по особому заказу тех же двух генералов — Канробера и Раглана, которые как будто хотели повторить начало бомбардировки 5/17 октября во всей полноте.

Впрочем, дождь теперь был гораздо сильнее, точно в полном соответствии с тем, что число орудий, начавших состязание на пасху, было уже вдвое больше октябрьского числа орудий.

V

С чем это можно бы было сравнить? С грозой при ливне, когда беспрерывно слепят глаза молнии и ревет и на части раскалывается небо?.. Но при подобной грозе, способной пугать только младенцев, не прыгают всюду кругом, как футбольные мячи, чугунные ядра, не разбиваются вдребезги стены и крыши домов, не валится с потолков даже нетронутых зданий штукатурка, точно при сильном землетрясении, не раскачиваются оконные рамы до того, что в них лопаются стекла, и они вылетают, наконец, на улицу; не ест глаза густой пороховой дым, из-за которого в двух шагах не видно, и не проходят усталым шагом одни за другими люди в солдатских шинелях, таща носилки, из которых капает кровь; не мечутся на улицах зеленые фуры с зарядами, снарядами, фашинами и даже с обыкновенною водою в бочках, несмотря на то, что воронки от

снарядов на улицах полны дождевой воды, и все кругом промочены дождем до нитки, и потоки воды мчатся, едва не сбивая с ног, особенно мощные там, где часто улицы узки и круто спускаются вниз. Солнце еще не оторвалось от горизонта, и косые слабые лучи его едва в состоянии были пробить туман, дым, потоки ливня; верховые лошади адъютантов, ординарцев, штаб-офицеров и генералов, наконец, поднятых свирепой канонадой, сталкивались на улицах в полумраке, теряя направление; женщины тащили на руках и за руки детей, уже надорвавшихся от плача; страшно было сидеть и ждать смерти в домах, еще страшнее было бежать куда-то, — куда? — по улицам. Бежали и к Графской пристани, чтобы переправиться на Северную, и к огромнейшему зданию Николаевской береговой батареи, способному вместить не одну тысячу человек.

Поднялся вдруг ветер, сильный и сразу, протащил дальше густую вату тумана и дыма, висевшую над бухтами, и столпившиеся у Графской увидели в открытом море другой дым — черный угольный дым боевого неприятельского флота. Видно стало на минуту, что суда там находятся в движении, как бы спеша занять места, удобнейшие для бомбардировки города... Однако едва успела толпа испуганных людей на берегу бухты понять, что это за маневры судов, море заволкло снова белым туманом и орудийным дымом.

Растерянность при виде двигавшегося в черном облаке дыма союзного флота охватила ставку Горчакова, который по слабости зрения не мог, конечно, ничего разглядеть сам, но вполне полагался на острые глаза чинов своего штаба.

Канонады с моря, подобной октябрьской, ожидали с минуты на минуту, но ее все не было; между тем Горчаков получал донесение за донесением, что неприятельский флот движется, насколько можно было уловить в тумане, по направлению к устью Качи.

— Ну да, к устью Качи, да, да, — так именно я и думал! — экспансивно выкрикивал Горчаков. — К устью Качи, чтобы там высадить десант и зайти мне в тыл! Значит, нам нужно направить достаточный отряд к устью Качи!

Маленький ростом начальник его штаба генерал Коцебу пытался было возражать, но Горчаков махал в его сторону длинными тощими

руками, точно отгонял стаю докучных мух, и не хотел даже выслушать возражений.

Около устья Качи стоял небольшой отряд; теперь его решено было увеличить в самом спешном порядке, и с приказом главнокомандующего выступить немедленно к Каче помчались уже адъютанты к нескольким полкам и полевым батареям, когда туман свеяло ветром настолько, что все около Горчакова могли разглядеть, даже не прибегая к подзорным трубам, что флот остановился: имел ли он намерение, подойдя ближе к берегу, начать обстрел Севастополя, или не имел, только к устью Качи он не шел и транспортов с десантом при нем не было.

Немедленно новые адъютанты и ординарцы были посланы Горчаковым к тем полкам и батареям на Инкермане, которые получили уже приказ выступать, с отменой этого приказа.

Еще во время Дунайской кампании французские карикатуристы изображали Горчакова 2-го с распростертыми руками и с надписями: на правой ладони — *ordre*, на левой — *contre-ordre*, а на лбу — *desordre*^{84}.

Нахимов же, чуть только началась канонада, поскакал на сереньком маштачке на бастионы. Теперь он считал это еще более своим настоящим делом, чем полгода назад, в первую бомбардировку; теперь на нем, как на помощнике начальника гарнизона, лежала забота о всех и обо всем в пределах Севастополя.

Всем своим существом и примером стремился он быть воплощенной, для всех очевидной, неиссякаемой энергией обороны, предоставляя начальнику гарнизона Сакену считаться ее мозгом и отлично сознавая, конечно, что мозгом-то этим в большей степени были Тотлебен и Васильчиков — начальник штаба Сакена.

Когда один из адъютантов вздумал, было уговаривать его остаться дома, не бросаться в самое пекло артиллерийского боя, не рисковать жизнью, Нахимов ответил ему совершенно серьезно:

— А что же такое моя жизнь?.. Вот если убьют Тотлебена или Васильчикова, это будет беда непоправимая, а я... Пустяки-с! Вздор-с! — и вскочил в седло не без некоторого даже щегольства тем, что уже в совершенстве постиг этот затруднявший его полгода назад

кавалерийский прием.

VI

Сто тридцать мортир было среди осадных орудий интервентов против пятидесяти семи у защитников Севастополя; между тем огонь мортир не прицельный, а навесный, и своими бомбами большого веса производили они огромные разрушения на русских батареях и вырывали множество жертв, тем более что недостаток пороха заставил Сакена разослать по бастионам и редутам приказ отвечать на два неприятельских выстрела одним, и это было всего через пять часов после начала бомбардировки.

Чугунная туча над головой, и каждую секунду рвутся, круша ребра укреплений, снаряды, — так было на бастионах. Чугунная туча, не редая, направлялась в город и бухту, на флот и низвергалась там. На бастионах от нее было темно и днем, как в сумерки. Это был подлинный ураганный огонь, хотя тогда еще не было в ходу такого сочетания слов.

На береговых батареях ожидали открытия канонады с неприятельских судов, и все стояли на местах, и были разожжены ядрокалильные печи. Однако флот противника предпочел остаться почетным зрителем дуэли сухопутных батарей и не подходил на пушечный выстрел: слишком свежа была среди высшего командного состава там память о 17 октября!

С первых же часов бомбардировки, открытой интервентами, выяснилось для защитников Севастополя, что ведется она по обдуманному плану.

Сосредоточив с начала осады свои усилия против четвертого и пятого бастионов, французы и подошли к ним траншеями и минными ходами ближе, чем к другим; переменив затем, под влиянием Ниэля, направление атаки в сторону Малахова, они успели приблизиться и к нему; пасхальная канонада должна была увенчать их саперные успехи и «сбрызнуть» прежде всего все эти досадные укрепления: четвертый и пятый бастионы и Малахов курган с его передовыми редутами: Волынским, Селенгинским, Камчатским... Последний особенно досаждал французам, и против него направлен был самый

ожесточенный огонь.

После смерти Истомина четвертым отделением оборонительной линии, в которую входил Малахов курган с его редутами, стал ведать капитан 1-го ранга Юрковский, отец десятерых малолетних ребят, из которых самый старший был всего только кадет третьего класса.

Жена Юрковского поспешила увезти их всех в Харьков еще до начала осады, и он, свободный от семейных забот, старался служить самозабвенно и поддерживать на отделении порядок, заведенный его предместником.

Он и поселился в каземате башни, там же, где жил Истомин. Однако даже и полуразбитая башня эта все-таки представляла прекрасную цель для длинных бомбических орудий, и теперь на нее с раннего утра усиленно начали падать и сверлить ее взрывами пятипудовые бомбы. Боясь, что ее рязрушат до основания, Юрковский приказал совершенно очистить ее от людей.

Юнкер Зарубин, по наследству от Истомина перешедший ординарцем к Юрковскому, бросившись передавать это приказание, едва не был задавлен обвалившимися от сотрясения камнями над входом в башню, но, проскочив благополучно, только оглянувшись, протер поспешно глаза, запорошенные известковой пылью, и звонко прокричал приказ очистить башню. Он был полон чисто адъютантского делового азарта, свойственного далеко не всем шестнадцатилетним. На его глазах в это утро залетевшим в амбразуру ядром разmozжило голову матросу-комендору, наводившему орудие, но едва он упал, тут же подскочил другой матрос, занял место, залитое кровью товарища, левой рукой сорвал с себя бескозырку и накрыл ею лицо убитого, а правой взялся за подъемный винт орудия. Некогда было даже и секунду времени отдавать жалости по том, с кем двадцать лет ел кашу из одного котла, — надо было отвечать противнику на его меткий выстрел тоже выстрелом метким и без задержки...

На его глазах в это утро не один раз по знаку надсмотрщика порохового погреба бежали самозабвенно солдаты засыпать яму, вырытую упавшим на крышу погреба снарядом... Что могло быть необходимей этого? Если допустить другой снаряд упасть в воронку, сделанную первым, то может не выдержать и перекрытие из толстых

бревен, и тогда взорвется погреб, а это уж катастрофа для всего бастиона...

На его глазах все время теперь, как и почти ежедневно раньше, подряд несколько месяцев, приравненных к годам, шла эта борьба бездушного металла, направляемого издалека врагами, с живыми людьми, простыми и даже веселыми, несмотря на весь жуткий ужас кругом.

Да, это очень влекло Витю Зарубина к матросам, у которых точно про запас готовы были шутки для встречи какого угодно трагизма. Бессознательно подражая не столько офицерам, с которыми жил в блиндаже, сколько именно матросам, не отходившим от своих орудий, рядом с ними и спавшим, Витя не мог научиться от них только одному — шуткам, но зато он запоминал их, и они возникали в нем всякий раз, когда приходилось бежать со строгим приказом начальства куда-нибудь «в самый кипятилок».

С утра в этот день он надел, как и другие, шинель, чтобы не до костей промочил ливень, но шинель промокла насквозь, мундир тоже, и целый день до вечера пришлось таскать на себе совершенно лишний пуд дождевой воды и чувствовать себя, как в бане,

Он устал. Он почти валился с ног к вечеру. Голова стала, как колокол: в ней всё лопались с треском бомбы, всё гремели и раскатывались выстрелы своих орудий, даже тогда, когда в сумерки начала затихать канонада. Глаза тоже непомерно устали от вспышек желтого огня сквозь дым на своих батареях и от желтых огненных полос сквозь туман, дождь и тот же дым в небе, так как ежесекундно вместе с «темными», то есть ядрами, летели и бомбы.

Крики сигнальщиков, крики команд, крики солдат, вызывающих носилки, — все крики кругом уже не воспринимались отдельно к вечеру: они слились для Вити в один сплошной гул, который не трогал уже, не беспокоил, просто был тем, без чего нельзя, и только очень хотелось, чтобы без него было можно.

Когда перед ним возник такой же усталый, с почерневшим и мокрым лицом другой юнкер из одного с ним блиндажа — Сикорский (третий, Чекеруль-Куш, умер от раны в голову), он только уставился в него вопросительными глазами, но опросить что-либо не хватило силы.

Сикорский же обратился к нему сам, едва шевеля языком:

— Есть хочу... Сухаря нету?

Витя вспомнил, что утром положил на всякий случай несколько штук в карман шинели. Это было при Сикорском, и вот Сикорский-то не забыл про это, а он забыл и не дотронулся до них целый день.

— Размокли, досада! — сказал он, вынимая из кармана бурое тесто.

— Э, черт... Ну, все равно, дай, — и Сикорский начал жевать то, что получилось из сухарей в кармане Вити.

— Ты откуда сейчас? — спросил Витя.

— С Камчатки...

— Что там?

— Все разнесли! Пропала Камчатка!..

— Как пропала? Взяли! — встряхнулся вдруг Витя.

— Не взяли... Ночью, должно быть, возьмут... Там и брать-то нечего... Вала уж нет, амбразуры все засыпало, — ни одно орудие стрелять не может. Камчатке конец!

Сикорский был годом старше Вити, повыше его ростом, потоньше лицом и фигурой, карие глаза, по-женски округлый подбородок, несколько длинноватый прямой нос. Говорил, растягивая слова, но это от усталости. Вид имел безнадёжный.

— Как это «Камчатке конец»? — совершенно ожил Витя, точно его подбросило. — У нас все разбито, а у них, ты думаешь, нет? Мы, что же, в белый свет стреляли, как в копеечку?

— И на Волынском редуте не лучше, чем на Камчатке, и на Селенгинском тоже, — вместо ответа сказал Сикорский, дожевывая сухарное тесто, а дожевывая, спросил: — Еще нету? Поищи-ка, брат: есть хочу, как стая собак!

— На-ша-а, береги-ись! — надсадно-хрипло прокричал вдруг недалеко от них сигнальщик-матрос, и оба юнкера ничком упали на землю, потому что оба, не взглянув даже кверху, почувствовали бомбу у себя над головами.

Бомба упала шагах в пяти, и, ожидая ее взрыва, Витя однообразно молил: «Не надо меня, господи!.. Не надо меня, господи!..» Бог представлялся ему теперь чудовищно огромным стариком, у которого глаза с тарелку. Этими глазами он смотрит на него, Витю, лежащего

лицом в землю, и на бомбу, рассчитывая, как разбросать ее осколки. Витя лежал, как на плахе перед казнью. Бесконечно долгие секунды тянулись, тянулись... Наконец, оглушительно грохнуло, точно в стенках его черепа, а не вне его.

Несколько мгновений еще не двигался и даже не думал связно Витя... Потом он осторожно шевельнул головой, подтянул кверху и опустил плечи, перебрал пальцами... Послушал, нет ли боли где-нибудь в теле, — нет, боли не было. Тогда он вспомнил о Сикорском, лежавшем рядом, и поглядел в его сторону с огромным любопытством. Тот продолжал лежать ничком.

— Эй! Вставай! — испуганно крикнул Витя.

Впрочем, он только думал, что крикнул громко: не получилось крика. Зато как раз в этот момент Витя припомнил жужжащий звук пролетающих над ним, а значит, и над Сикорским осколков взорвавшейся бомбы, и для него стало ясно, что Сикорский так же невредим, как и он.

Это разом подняло его на ноги.

— Сикорский! Проехало! — оживленно принялся он трясти за плечи товарища.

Тот повернулся, поглядел на него мутно и пробормотал:

— А нога капут...

— Какая нога? Что ты? Обе ноги целы!

Витя проворно начал ощупывать его ноги, лежавшие, как и лежали, пятками кверху, и действительно наткнулся на небольшой осколок, вонзившийся в левую икру так не глубоко, что без особого усилия вынул. Сикорский стонал, а Витя соображал тем временем, что это не мог быть осколок только что взорвавшейся бомбы, все они пролетели выше над ними; значит, этот осколок просто валялся на земле и был подброшен силой взрыва.

— Чепуха! Даже и кровь почти не идет! — совсем уже бодро и радостно, вполне овладев собою, взял за ворот Сикорского Витя, но тот, хотя и поднялся, повторял уныло:

— Вот ты увидишь, увидишь: ноге капут!

Но тут шагах в десяти от себя Витя увидел солдата, который сидел на земле и пригребал к себе что-то рукою. Солдат был без фуражки, лицо

его было в крови, рука красная, к нему подходили уже другие солдаты с носилками, подбежал и Витя.

Один из тех больших осколков, которые, жужжа, пролетели над ними, развернул этому несчастному живот, жутко глядевший из-за ключев шинели и мундира, и то, что собирал и подгребал к себе раненый, были его кишки... Но, вкладывая их вместе с грязью обратно в свой живот, он говорил деловито:

— Там, на перевязочном, разберут, что куда... Доктор Пирогов заколбает!

Так верил он в русскую медицину и в Пирогова и так мало смущался тем, что сделала с ним вражеская бомба.

Волосы его стояли непокорным ежом, — они были светлее, чем русые. Серые глаза — обыкновенные глаза солдата, уроженца одной из северных губерний, только красноватые, и с красножилыми от целодневного дыма белками, — смотрели неугнетенно. Один ус и щеки его были в крови, но, видимо, он просто брался за них рукой.

Витя узнал по погонам, что был он Бутырского полка, но ему хотелось спросить, как его фамилия. Однако не удалось: в это время матрос-сигнальщик снова выкрикнул протяжно-хрипуче и надсадно:

— Бере-ги-ись! На-ша-а!.

Витя кинулся к выступу блиндажа, который был в нескольких шагах, а потом, оглянувшись, увидел, как уносили этого раненого четверо носильщиков, не обратив внимания на крик сигнальщика. Бомба же упала в стороне, и разрыва ее Витя уже не слышал, может быть потому, что совпал он с выстрелом своего орудия большого калибра.

VII

День кончился. Перестрелка значительно ослабела, но не затихла совершенно: умолкли только прицельные орудия, мортиры же безостановочно перебрасывались навесными снарядами.

День кончился, и обе стороны подвели ему итог. Двенадцать тысяч снарядов было выпущено с русских батарей и тридцать четыре тысячи, то есть почти втрое больше, с батарей интервентов; свыше пятисот человек потеряли русские, и только сто — интервенты. Последнее объяснялось тем, что в ожидании штурма слишком близко к

батареям были придвинуты русские резервы. Но русские артиллеристы-матросы за себя постояли: отвечая во вторую половину дня только одним выстрелом на четыре, даже на пять неприятельских, они сумели нанести противнику большой материальный урон, а на батареях всей оборонительной линии оказалось в итоге только пятнадцать подбитых орудий.

Зато амбразур было завалено свыше ста, скрыты были снарядами валы, засыпаны рвы, пробиты крыши многих блиндажей, — все требовало не починки только — возобновления... День кончился — началась ночная страда севастопольского гарнизона.

Пятнадцать подбитых орудий — это ничтожный результат пятнадцатичасового ураганного огня пятисот осадных мортир и пушек, но эти пятнадцать орудий необходимо было к утру заменить новыми, снятыми ли с судов, взятыми ли из арсенала порта.

Тащить их, эти многопудовые чудовища, приходилось за несколько верст по грязи, образовавшейся от ливня. Лошади не шли, — солдаты надевали лямки, как бурлаки, и вытягивали орудия, как баржи на волжских перекатах. При этом, кроме грязи на улицах и дорогах к бастионам, очень часты были воронки, полные воды; в них проваливались и ломались колеса, по пояс уходили люди и лошади, и чем ближе к линии фронта, тем больше попадалось таких воронок, предательски таившихся в темноте, или ядер, барьерами, кучами выросших за день на путях к батареям.

Ругались зверски, но шли вперед, шли под выстрелами, от которых некуда было скрыться, под выстрелами и устанавливали орудия на подмости, оттаскивая убитых при этом и тяжело раненных.

А на бастионах и редутах работали в это время кирками и лопатами тысячи других солдат. Где должны были выситься насыпи, там к утру исправно возвышались насыпи; где были засыпаны снарядами рвы — снова зияли рвы. Откапывались орудия, сбитые и заваленные взрывами; засыпались воронки на площадках бастионов; откатывались и складывались в кучи ядра, эти неразменные рубли бомбардировок, часто по несколько раз перелетавшие с одной стороны на другую, если подходили к орудиям по калибру.

В то же время третья партия солдат-рабочих в укрытых местах, в

пещерах, начиняла полые снаряды и грузила их на фуры и полуфурки, чтобы потом фурштатские тройки доставили их под покровом ночи на батареи... А фурштатские солдаты? Это был на подбор лихой народ! Они считались нестроевщиной, и, какие бы подвиги ни совершали, им не полагалось по статуту георгиевских крестов, как будто лошади могли умчать их от всех бомб, ядер и пуль. Между тем сколько их погибло при подвозке всего необходимого на бастионы и редуты, и не в одну фурштатскую подводку в эту ночь попали неприятельские снаряды, вызвав этим взрывы русских снарядов, которыми далеко раскидывало кругом мелкие клочья людей, лошадей и самих повозок...

Конечно, чинились и укрепления противника: ведь на интервентов глядела вся Европа. Ведь никогда в истории не было такого случая, чтобы несколько огромных государств, — из них два первоклассных, — соединившись вместе, послали отборные и большие армии, в изобилии снабженные всем, что могла дать передовая военная техника Запада, и вот армии эти семь месяцев уже осаждали всего один только пограничный русский город, который к тому же перед началом осады совсем не был укреплен с суши, — и не могли с ним сладить!

Было неловко перед лицом Европы и прочего света. Нужно было чиниться, чтобы с утра начать новую сильнейшую канонаду, добить врага и пройти в город по трупам его защитников.

Новая канонада началась также в пять утра и встречена была таким же точно огнем русских орудий, как и накануне. А между тем разрушения, произведенные бомбардировкой первого дня на Камчатке, на Волынском и Селенгинском редутах, на четвертом и пятом бастионах, были отлично видны противнику, траншеи которого тянулись совсем недалеко от этих укреплений.

Вполне естественно было и Канроберу и Раглану считать этот новый день канонады — 29 марта / 10 апреля — последним днем своих усилий, за которым должны были следовать победоносный штурм города и конец осады.

Однако чудесно возрожденные за одну ночь укрепления, столь же сильные во второй день, как и в первый, совершенно спутали все их

расчеты. Поэтому наивно и странно, не как стратег, а как сконфуженный любитель военных эскерций, доносил в конце этого дня Канробер Наполеону:

«С прибытием к нам Омера-паши и лучших его войск мы (то есть сам Канробер и Раглан) полагали, что самое выгодное для нас было бы, если бы русская армия решилась атаковать нас на превосходной нашей позиции. Мы давно думали, что русские намерены напасть на нас, как скоро мы откроем огонь против укреплений. Поэтому, чтобы вызвать их на такое предприятие, мы вчера открыли огонь из всех французских и английских батарей. Главнокомандующие хотят поддерживать огонь без особой торопливости, но и не прекращая его, с тем, чтобы воспользоваться всеми благоприятными случаями для действия против укреплений или против вспомогательной русской армии».

Таким образом, в одно и то же время Горчаков думал, что интервенты готовят против него десантную операцию со стороны Качи, а Канробер и Раглан ожидали от него повторения атаки со стороны Инкермана, и дорого стоящая канонада начата была ими будто бы только затем, чтобы Горчаков решился на вылазку в очень крупном масштабе и чтобы потом, когда он будет разбит, на плечах его при отступлении ворваться в город!

VIII

Второй день бомбардировки показал Канроберу и Раглану, что если они даже и про себя, а не только вслух надеялись на большую и, конечно, неудачную вылазку русских, то надежды эти приходилось бросить.

Русские артиллеристы отстреливались исправно; они, правда, мало тратили снарядов, но уже в первые четыре часа заставили замолчать до полусотни осадных орудий.

Мог бы внести немалое расстройство в порядок защиты города союзный флот, но он и в этот день предпочел только красоваться, выстроившись перед рейдом, но опасаясь подходить на выстрел к береговым батареям.

День кончился, но особенно разительных результатов усиленной

канонады на русской стороне не было видно интервентам, и оба главнокомандующие решили пригласить на военный совет в главный штаб английской армии всех своих артиллерийских и инженерных генералов.

— Ну, что? Как? Каково ваше мнение? — спросили их главнокомандующие.

Однако на эти короткие по сути вопросы очень трудно оказалось генералам так же коротко ответить. Успехи бомбардировки были, конечно, но не решительные. Инженеры должны были воздать должное изумительной способности русских восстанавливать ночью все, что было у них разрушено и уничтожено днем; артиллеристы же должны были признать высокую меткость прицельного огня русских наводчиков. Впрочем, и те и другие сошлись на мнении, что не мешало бы попробовать перейти к открытому штурму там, где он сулит больше удачи.

Канробер и Раглан грустно переглянулись и вздохнули. Но раз вышло как-то так, что военный совет вынес решение о штурме, то корпусным командирам приказано было «держатъ свои части в готовности к штурму».

Попытка к штурму была сделана французами в ночь на 30 марта против пятого бастиона. Ложементы были заняты ими, из ложементов они были выбиты батальоном Колыванского полка, и к утру все осталось по-прежнему. Но зато неслыханной силы артиллерийский огонь был открыт с утра 30 марта по этим ложементам, по пятому бастиону и смежному с ним редуту лейтенанта Шварца. Этот жестокий огонь нанес большой ущерб и вырвал много жизней, но его все-таки вынесли, и новый штурм в следующую ночь был отбит снова колыванцами под командой полковника Темирязева. Однако наступал четвертый день бомбардировки.

Безропотно работали до упаду на бастионах, редутах и в ложементах солдаты, чтобы привести их к утру в исправный вид, гибли во множестве при этом от мортирных снарядов, и не только «сорок веков с пирамид» не смотрели на них, даже и свое начальство не имело возможности видеть их в темноте. Это были подвиги народа, а не отдельных людей, того народа, который неторопливо, исподволь

хозяйственно занял на планете Земля столько удобных и неудобных просторов, сколько вошло в естественные границы от Белого моря до Черного и Каспия, от Балтийского до Тихого океана, так, чтобы хватило этих просторов не только для праправнуков, но и для праправнуков праправнуков тоже.

Севастополь со всеми его бастионами был не больше, как точка в этой неизмеримости, но какая точка зато!.. Не город, а знамя России! И весь великий исторический смысл беспримерной защиты этого города от натиска почти целой Европы, явно или тайно участвовавшей в натиске, состоял именно в том, чтобы отстоять знамя, полотнище знамени, которое отрывает от древка в рукопашном бою знаменщик, чтобы опоясаться им под мундиром и тем его спасти. Пусть изломанное в схватке древко достанется напавшему в больших силах врагу, но не самое знамя.

Севастополь состоял из трех сторон: Южной, Корабельной и Северной. Когда открылась бомбардировка, на пятый день пасхальной недели матроски с Корабельной начали переправляться со своими ребятами и скарбом через бухту на Северную.

Они стали там прочным станом: натянули одеяла на колья, разыскали щепы и угольков, развели утюги и самовары. Но одеяла все-таки было жаль мочить под дождем, но одеяла нужны были семейству на ночь, и они осаждали начальство голосистой толпой:

— Давай паруса! Будем себе шить из них палатки...

Они, матроски, знали, что паруса давно были сняты с кораблей и часть их уже отдана на палатки солдатам; они искали и требовали и своей в них доли. Из Севастополя, от бухты, от Большого рейда они никуда не уходили; они только перешли со своей старой Корабельной в другую сторону того же Севастополя, где была тоже крепость, — третья часть укрепленного района, — где раскинулся уже и базар с рядами лавок, сделанных пока тоже из парусины, — куда перебрались загодя многие торговцы из Южной стороны, где открылись и рестораны для офицеров.

Паруса для палаток были выданы; матроски утвердились на Северной. А канонада гремела.

В этот день особенно потерпел четвертый бастион. Предмет особых забот Тотлебена — минные галереи — потеряли свою связь с поверхностью земли, так как блиндажи над минными колодцами во рву были разбиты бомбами, весь ров вообще засыпан землей, обрушившейся с вала, живого места не осталось на площадке бастиона: она имела почти такой же вид, какой 5 октября после взрыва порохового погреба имела площадка третьего бастиона.

Рабочие сюда были присланы еще с вечера, как и всюду, но работы здесь почему-то шли вяло. Сказалась ли в этом действительно большая усталость солдат, почему у них и опускались руки под непосильным и как будто даже совершенно бессмысленным трудом, или были другие причины, но хозяин четвертого бастиона — бессменный с начала осады, — вице-адмирал Новосильский, послал своего адъютанта к Нахимову, как помощнику начальника гарнизона, с просьбой назначить еще рабочих.

Между тем их и без того было на бастионе немало — полторы тысячи, а расход на рабочих в эту ночь был особенно велик. Поэтому Нахимов решил приехать сюда сам.

— Что тут такое у вас, братцы? — обратился он к одной кучке солдат в тылу бастиона. — Почему стоите без дела?

— Потому — силов-возможностей не имеем, вот почему! — раздался в ответ из темноты звонкий голос.

— Тут поразворочено все, сам черт ногу сломит! — поддержал его другой, не менее звонкий; и третий такой же:

— Бандировка донимает: много дюже погибает нашего брата зря!

— Ишь ты ка-ак!.. «Силов-возможностей» не имеют, а голоса не слабые-с! — заметил Нахимов. — Страм-с, братцы! Чистый выходит страм!.. В руку французам играть хотите-с!.. Шесть месяцев учат вас под огнем строиться-исправляться, а вы мне вдруг — «силов-возможностей не имеем»! Да вы русские или нет, а?.. Русские или нет?

— Точно так, русские, ваше превосходительство! — ответили в передних рядах, а в задних кое-кто обратился к матросам, артиллеристам бастиона:

— Это что за генерал такой?

— Деревня! Не знают чего! — обиделись матросы. — Да это же сам

Пал Степаныч!.. Он не генерал вовсе — адмирал...

— Какой такой Пал Степаныч?

— Как это «какой»? Нахимов — известно!

И вот вдруг из задних рядов еще голос хоть и не очень звонкий, однако же добротный и даже как будто радостный:

— Пал Степаныч!

— Ну, что там еще «Пал Степаныч»? — спросил темноту Нахимов.

И тот же голос крикнул в ответ еще радостней:

— Сделаем, Пал Степаныч, не тужи!

— Вот это другое дело, братцы... А то как же можно-с: «силов-возможностей»?..

— Пал Степаныч!.. Пал Степаныч, сделаем! — загудели голоса кругом.

— Берись, ребята!

И потом прилетали и рвались так же часто, как и прежде, бомбы, освещая при полете и взрывах на короткие моменты руины славного бастиона, но полторы тысячи кирок и лопат очень дружно долбили и отбрасывали землю, и к рассвету четвертый бастион сделался не хуже других вполне способен к новому бою.

IX

Но мало было все-таки очистить рвы, насыпать валы, прорезать амбразуры, исправить крыши блиндажей и пороховых погребов; для того чтобы продолжать огневой бой с богатым боевыми припасами противником, надо было иметь налицо снаряды, порох... Снарядов оставалось очень мало, пороху еще меньше.

Спешно направил Нахимов одного из своих ординарцев, мичмана Шкота, в Луганск на завод, чтобы ускорить доставку оттуда снарядов, а оставшийся не у дел с отставкой Меншикова начальник его штаба генерал Семякин командирован был Горчаковым в Берислав и Николаев, встряхнуть как следует тыл, чтобы как можно скорее выжать оттуда все застрявшие там транспорты пороха. На наем подвод и тому и другому из посланных толкачей были отпущены большие деньги.

Пока же собирали порох в самом Севастополе и в окрестностях его — в артиллерийских парках, — откуда только могли. Вывезли запасы

береговых батарей, оставив им всего по тридцати зарядов на орудие, разрядили бывшие на складах ружейные патроны... По два и по три в день отправлял Горчаков своих адъютантов в Петербург, чтобы военный министр Долгоруков и сам царь прониклись муками порохового голода Севастополя.

— Ах, этот князь Меншиков, этот князь Меншиков! — то и дело недобрым словом вспоминал своего предместника Горчаков. — Какое гнусное наследство он мне оставил!.. Что делал он здесь? О чем думал?.. Вот честь и слава России поставлены на карту из-за чего? Из-за того, что нет пороху! Ах, какое подлое наследство я получил!

Однако, заботясь о чести и славе России, Горчаков отнюдь не забывал и о своей чести и славе. Теряя голову под натиском рвущихся в Севастополь двойных по сравнению с его силами полчищ интервентов, он всячески стремился подготовить царя Александра к самому худшему известию, заранее свалив на Меншикова всю ответственность.

«Ход дел в Крыму издавна испорчен, — писал он царю, — и, полагая даже, что мне удастся отстоять Севастополь до прибытия сорока батальонов, следующих из Южной армии, что, впрочем, весьма сомнительно, я не менее того буду гораздо слабее неприятеля, который стягивает сюда огромные силы, если со своей стороны не получу нового, значительного подкрепления.

Положение наше в высшей степени трудно, и одно, ослепление неприятеля может поправить наши дела... Быть может, бог по особой милости выручит нас, но вашему императорскому величеству должно быть готовым на все: и на потерю Севастополя и на уничтожение большей части его храброго гарнизона.

Осмелюсь доложить, что от высылки сюда нового, особого запаса пороха и новых подкреплений будет зависеть многое для величия и славы царствования вашего, иначе будет очень худо впоследствии...»

Недвусмысленно давал Горчаков понять царю, что он может не только не отстоять Севастополь, но даже потерять и весь Крым, если ему не пришлют самым экстренным способом двадцать — тридцать тысяч пудов пороху. Пока же он сделал распоряжение по гарнизону, чтобы из каждого орудия производили не больше двадцати выстрелов в

сутки. В случае же, если бы в ближайшие два-три дня не подошли транспорты пороху, он решил совсем прекратить ответную стрельбу на канонаду противника, оставив последние снаряды на отражение штурма. Надеясь же при этом последнем акте защиты Севастополя больше всего на штыки, Горчаков послал приказ князю Урусову немедленно передвинуть 8-ю дивизию из-под Евпатории, где она продолжала стоять, на Инкерман.

То соображение свое, что интервенты могут атаковать его в тыл, высадившись на Каче, он все-таки не оставил, и качинский отряд был им значительно усилен.

Уже через день после того как он подписал и разослал по гарнизону приказ о двадцати выстрелах, решено было выпустить и другой приказ: о пятнадцати зарядах в день для орудий, охранявших самые важные точки обороны, о десяти — для второстепенных пунктов и о пяти для остальных. Ему казалось уже, что дни Севастополя сочтены.

И как будто только затем, чтобы утвердить его в этой вредной мысли, попавший в плен француз-минер стал кричать, проходя по площадке четвертого бастиона, что бастион этот вот-вот взлетит на воздух, что под минные галереи русских здесь французы подвели контрмины, и в них уже все готово для взрыва.

Конечно, это была большая оплошность офицеров бастиона, пустившихся в разговоры с пленным минером. От них пошла гулять зловещая новость к юнкерам, от юнкеров — к матросам и солдатам, которые ежеминутно начали ожидать взрыва и спрашивали даже, когда же их уведут с бастиона.

Но больше всех других обеспокоен был вздорным слухом сам главнокомандующий. Напрасно убеждал его Тотлебен, что подкопаться под галереи четвертого бастиона французы не могут по причине очень крепкого скалистого грунта, Горчаков счел нужным предупредить даже и царя, что Севастополь на краю гибели, что взрыв четвертого бастиона откроет врагу ворота города.

Тотлебен снова, как и за месяц до того, устанавливал неопровержимо, что минер-француз врал, подобно тем сержанту и капралу. На четвертом бастионе все успокоилось. Прошло дня два, — был вечер 3/15 апреля. Бомбардировка все эти дни начиналась по-заведенному в

пять утра и продолжалась до густых сумерек. Сила ее со стороны французов не уменьшалась. Только англичане, боровшиеся с одним лишь третьим бастионом, уменьшали свой огонь, когда большое число их орудий бывало подбито. Однажды даже раздался громовой взрыв на батарее англичан, русский снаряд пробил там крышу порохового погреба... Это вызвало дружное «ура» всей оборонительной линии. Но вечером 3 апреля подобное же «ура» выпало на долю союзников.

Пленный минер соврал только наполовину: французы действительно подготовили взрыв если не четвертого бастиона, то четырех горнов — двух простых и двух усиленных против исходящего угла бастиона.

Тут было достаточно воронок от прежних взрывов, и заняты они были русскими стрелками. Кроме того, на бастионе собрались рабочие для обычных ночных работ. Взрыв горнов произошел одновременно. Действие его похоже было на извержение небольшого вулкана в большой толпе. Вихрь камней разной величины взмыл высоко в воздух и обрушился на все передовые воронки и на площадку бастиона. До ста человек насчитано было потом убитых и раненых и пропавших без вести, то есть просто глубоко забитых в землю и заваленных камнями. Воронки, которые образовались от этого взрыва, оказались тоже исполинскими. Их вышло три, и в среднем они были до двадцати сажен длиною, до десяти шириною.

Можно было ожидать, что французы воспользуются смятением, охватившим бастион после этого взрыва, и пойдут на штурм. Этого и ждали защитники бастиона целую ночь, но Канробер остался верен себе и на штурм не решился. Воронки же заняли было французские стрелки, но они таким маневром вошли в слишком уж близкое соседство с четвертым бастионом. Оттуда полетели в них картечь, и бочонки с ручными гранатами, и штуцерные пули. Стрелков же своих начали усиленно поддерживать французские батареи. Так в ночь с 3 на 4 апреля началась упорнейшая борьба за обладание воронками, тем более что под 4 апреля прибыл, наконец, первый транспорт пороху, и Горчаков несколько ожил.

Французы принялись развивать свой успех, очень бивший в глаза, потому что одна из воронок, притом самая большая, оказалась в исходящем углу бастиона. Если нельзя было бы сказать, что их огонь

против других бастионов и редутов ослабел, то против четвертого бастиона он стал гораздо сильнее, чем вначале.

Упорнее начали работать и французские минеры: взрывы горнов с их стороны следовали один за другим. Соблазняла, конечно, возможность соединить цепь воронок, чтобы получить глубокую траншею.

Это заставило защитников Севастополя взяться за верное средство — ночные вылазки и выбивать засевших в воронках штыками. Однако на место выбитых посылались новые роты. Воронки впереди четвертого бастиона сделались ареной ожесточенных стычек ночью и непрерывно обстреливались днем мортирными снарядами и картечью. За четверо суток в самих воронках и около них скопилось множество неубранных тел убитых и тяжело раненных. Раненые французы знаками просили у русских солдат воды.

— Мучаются, нет возможности смотреть на них! — доносили солдаты офицерам. — Прямо жалости подобно!..

— Что же мы можем для них сделать? — говорили офицеры.

Тела убитых разлагались; раненых французы не брали, и Сакен приказал, наконец, Новосильскому попробовать выкинуть белый флаг и предложить французам перемирие для уборки раненых и убитых.

Предложение это было принято после полудня 7/19 апреля; и трупы и раненых убрали французы. Этот момент оказался переломным: десятидневная пасхальная канонада ураганной силы заменилась на другой день обыкновенной перестрелкой повсюду, кроме одного только четвертого бастиона. Но как бы много ни нанесли ему вреда, штурмовать его все-таки не решились.

Десятидневная бомбардировка, невиданная до того в истории войн, по существу кончилась ничем.

Х

Правда, бомбардировка эта, в связи с минной войной и вылазками, вывела из строя много доблестных защитников Севастополя — около шести тысяч, но все-таки это был совсем не тот результат, которого лихорадочно ожидали граф Буоль и лорд Россель, Друэн де Люис и лорд Кларендон, Наполеон и Виктория, а за ними вся враждебная России Европа.

Севастополь пощипали, но не сбили. Севастополь стоял такой же неприступный, как и в октябре. Во время перемирия 7 апреля французские офицеры говорили русским:

— Вы, русские, можете держать головы высоко и гордо: у вас есть своя Троя!

К бомбардировке, начатой на пасху, интервенты готовились очень долго и подготовили ее богатой рукой. Английские журналы, корреспонденты газет писали из Крыма, что союзники при заготовке снарядов руководились расчетом покрыть ими буквально все пространство, занятое Севастополем, — вымостить и улицы и дворы ядрами и осколками бомб. Сто шестьдесят пять тысяч снарядов из огромных осадных орудий и мортир было брошено ими в город за десять дней, и улицы, правда, оказались сплошь замощены ядрами, и много благополучно стоявших до этого домов было разбито, но военные советы союзных генералов, несколько раз собиравшиеся Канробером и Рагланом для решения вопроса о штурме, так и не пришли к положительному решению этого вопроса. Даже наиболее энергичные из французских генералов — Боске и Пелисье — сомневались в успехе штурма, несмотря на то, что четвертый бастион благодаря сосредоточенному против него исключительной силы огню представлял уже собою к концу бомбардировки беспорядочные груды навороченной взрывами бомб земли рядом с такими же беспорядочно зиявшими всюду ямами воронок, так что даже и сам Нахимов в конце концов вынужден был признать, что восстановить бастион за одну ночь невозможно.

И французы видели это, но на штурм не пошли, хотя их резервы могли быть расположены гораздо ближе, чем русские, потому что от них вполне зависело выбрать удобнейшие день и час штурма.

Что же остановило их?

На этот вопрос ответила одна из английских газет того времени:

«Все средства разрушения были пущены в дело, чтобы потушить огонь русских батарей, но его не удалось потушить, — следовательно, севастопольская твердыня все еще в состоянии устоять против штурма. Необходимо согласиться и с тем, что в самих работах, на

которые опирается оборона, есть нечто новое , нечто такое, чего не встречалось еще в истории достопамятнейших осад, и на это следует нам обратить свое внимание».

Воздав должное русскому солдату — артиллеристу и пехотинцу, англичане в этом отзыве выдвинули на передний план и русского солдата-рабочего.

А французский историк этой войны Герен, дойдя до итогов десятидневной бомбардировки, вынужден был заметить меланхолически:

«Наполеон I завоевал бы три или четыре государства с половиною тех средств, как деньгами, так и людьми, каких стоила уже теперь осада Севастополя... Вобан^{85}, Тюрень^{86} и Конде^{87} при Людовике XIV не располагали такими средствами для присоединения к Франции нескольких областей и многих укрепленных городов, уступленных ей по Нимвегенскому миру^{88}!...»

Неудача бомбардировки значительно охладила и пыл союзных войск; при этом не могла, конечно, не сказаться и усталость от слишком большого напряжения сил. Необходим был отдых, и перестрелка потому в апреле продолжалась уже вяло, так что даже и четвертому бастиону доставлена была полная возможность восстановиться без особенной спешки.

Боевые матроски, забрав ребятишек и скарб, снова ринулись с Северной на свою Корабельную; торговцы переправились тоже и открыли снова торговлю, иные, правда, в других уже домах, если их прежние торговые помещения не уцелели... И в какие-нибудь три-четыре дня прижукший было Севастополь снова ожил, и под весенним жарким солнцем опять засновали его притерпевшиеся даже и к «страшному суду в большом виде» выносливые обитатели, и ребята на развороченных улицах целыми днями играли в ядра, закатывая их в воронки и радостно вскрикивая при их глухих чугунных стуках друг о друга.

Из вместительных казарм Николаевской батареи, где отсиживались около двух недель Зарубины с младшей дочкой, вернулись и они в свой домик на Малой Офицерской, который счастливо уцелел, хотя сарай рядом был пробит, и одна стена его завалилась, и несколько

деревьев в саду было вывернуто с корнями, как ураганом.

Стекла в рамах, правда, вылетели, но дело шло к лету, и особых неудобств это не представляло.

Капитолина Петровна поахала, покачала сокрушенно крупной головой, но скоро успокоилась за себя, глядя на то, что было кругом у соседей, и когда усталый от долгой ходьбы Иван Ильич обратился к ней с мольбой в глазах: «Что ж, Капитоша, как, а?.. Может быть, того... самоварчик бы поставить?» — она тут же пошла на кухню привычно хлопотать по хозяйству.

А к вечеру пришла Варя.

— Столько раненых, столько раненых было, ужас! — говорила она. — Ну, теперь уж, слава богу, их почти всех отправили, кого на Северную, в госпиталь, кого дальше — в Бахчисарай... А прапорщик Бородатов, мама, он теперь тоже уж в госпитале, на Северной. Он поправляется... Нога срослась, только повязку еще не снимают... Пирогов заболел, бедный, — на перевязочный не приходит... Конечно, врачей у нас много и немцев даже несколько человек, только все говорят, что один Пирогов целых ста врачей-хирургов стоит... Конечно, они, наши врачи тоже люди знающие, но ведь, мама, подумай, если бы только тогда, когда поручика Бородатова принесли, его не было, ведь ногу бы ему отрезали, мама, а это такой ужас, — очень мало выздоравливают, когда ногу отрезают выше колена!

— То у тебя он прапорщик, этот Бородатов, а то уж сразу поручик стал, — заметила мать, любясь ее оживлением, и Варя тут же отозвалась на это с горячностью:

— Ну, разумеется, он пока еще прапорщик, но ведь чины-то его, как тяжело раненному, вернут ему, он сам говорил мне об этом.

— Где твой перевязочный пункт, а где госпиталь! Когда ты там побывать успела? — спросила Капитолина Петровна; но, слегка зардевшись от этого замечания, Варя сказала деловито:

— Ведь мне же приходилось не один раз сопровождать туда раненых, мама!

О том, что Витя уцелел на своем Малаховом, в семье уже знали, и все чувствовали себя в этот вечер так, как мореплаватели, которых долго трепало штормом в открытом море, пока не выкинуло, наконец, на

знакомый им берег. Путешествие, правда, далеко еще не окончено и будущее, может быть, угрожало еще большими бедами, но все-таки дана судьбою спасительная передышка, — пользуйся же ею, живи, дыши свободней, оглянись повеселее вокруг, — иначе как же возможно пережить то, что тебе еще выпадет на долю!

Глухо ударило в землю в стороне. Капитолина Петровна, ставившая в это время кипящий самовар на стол, посмотрела в окно и сказала:

— Это, кажется, у Микрюкова в саду упало.

Другие же даже и не посмотрели в ту сторону: у Микрюкова так у Микрюкова упало ядро, — ведь не у них же.

И маленькая Оля стала уже равнодушна к этим изредка падавшим ядрам, как была равнодушна к осенним дождям. Она нарвала букетик фиалок, распутившихся у них под деревьями, и не могла на него наглядеться.

А Иван Ильич, облизывая языком сухие губы, внимательнейше следил только за тем, как жена его заглубившими руками резала купленную по дороге сюда франзолью и потом заваривала чай. А когда чай заварился и она взялась за его стакан с подстаканником, чтобы налить ему первого, как всегда, — он протянул по-детски просительно:

— Только, Капочка, родная... нельзя ли, а нельзя ли, мамочка, мне покрепче?..

1938 г.